

МирГОРОД

mirgorod

международный филологический журнал, посвященный

истории современного литературоведения,
его эпистемологии и интердисциплинарности

2022

n° 2 (20)

Lausanne – Siedlce

МИРГОРОД

2022 n°2 (20)



Section de langues slaves de l'Université de Lausanne

**Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich
imienia Franciszka Karpińskiego**

„МИРГОРОД”

<https://mirgorodjournalssite.wordpress.com>

Редакторы журнала:

Anastasia de La Fortelle (Université de Lausanne)
Roman Mnich (Uniwersytet Warszawski)

Секретариат:

Roman Bobryk, Ludmiła Mnich, Oxana Blashkiv
mirgorod.press@gmail.com

Editorial Board

Leonid Heller (Switzerland, Lausanne)
Rainer Goldt (Germany, Mainz)
Ben Dhooge (Belgium, Ghent)
Aleksy Zherebin (Russia, Saint Petersburg)
Sergey Zenkiv (Russia, Moscow)
Natalia Kovtun (Russia, Krasnoyarsk)
Ludmiła Łucewicz (Poland, Warsaw)
Andrea Meyer-Fraatz (Germany, Jena)
Michel Niqueux (France, Caen)
Galina Petkova (Bulgaria, Sofia)
Ivo Pospíšil (Czech Republic, Brno)
Andrey Toporkov (Russia, Moscow)
Andrey Faustov (Russia, Voronezh)
Zsuzsa Hetényi (Hungary, Budapest)
Tatiana Sharypina (Russia, Nizhny Novgorod)
Andrei Chichkine (Italy, Salerno)
Anton Eliáš (Slovak Republic, Bratislava)

Editorial Council

Tatiana Autukhovich (Belarus)
Olga Antsyferova (Russia)
Aleksandr Korablev (Ukraine)
Dina Magomedova (Russia)
Jurij Orlitskij (Russia)
Nikalay Rymar (Russia)
Olga Chervinska (Ukraine)
Danuta Szymonik (Poland)

МирГород

международный филологический журнал, посвященный

истории современного литературоведения,
его эпистемологии и интердисциплинарности

2022
n° 2 (20)

Section de langues slaves
de l'Université de Lausanne

Instytut Kultury Regionalnej
i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego

Skład i łamanie
Roman Bobryk

© *Copyright by Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich
imienia Franciszka Karpińskiego*

Adres redakcji:

Ludmiła Mnich,
„Mirgorod”
Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich
imienia Franciszka Karpińskiego
ul. M. Asłanowicza 2, lok. 2
08-110 Siedlce

e-mail: mirgorod.press@gmail.com

ISSN 1897-1431

Druk i oprawa:
Drukarnia ELPIL

СОДЕРЖАНИЕ

Editorial 7

Три разговора

о войне, прогрессе и конце теории

Иво Поспишил

ЮБИЛЕЙНОЕ, или разговор

о сущностях современного литературоведения и не только 11

Жужа Хетени

ДРУГИЕ БЕРЕГА (о венгерской славистике и Владимире Набокове) ... 30

Дануга Улицка

Сто лет современного польского литературоведения 44

Теория

Марина Савельева

Манья Ричарда III (Уроки Т. Мора и У. Шекспира) 61

Надежда Григорьева

Антропологический эксперимент в литературе:

Достоевский, Вагинов, Зоценко 92

Книги, книги, книги

*Теофилология Владимира Кантора. Владимир Кантор: Изображая
понимать: Sententia Sensa: философия в литературном тексте.*

*Москва – Санкт-Петербург: Российская Академия Наук (Центр
гуманитарных инициатив), 2018 (Виктор Дмитриев)* 123

Семиотическое пространство в антропологическом измерении.

*Тюнде Сабо: Статьи по поэтике Л. Улицкой. Москва: Флинта, 2022
(Татьяна Автухович)* 160

Наши авторы..... 163

Editorial

„Не той тепер Миргород...“

Павло Тичина *Пісня трактористки*

Материалы этого номера журнала готовились к печати после февраля 2022 года, поэтому часть текстов отражает уже новые реалии, возникшие во время войны России против Украины. Эти реалии, в которых, понятно, живет и развивается сегодня теория литературы вместе с другими гуманитарными науками, трудно описывать в границах эпистемологии литературоведения. Очевидно, здесь нужны другие научные парадигмы и методологические ориентиры (первое, что сразу же вспоминается – это книга Питирима Сорокина *Человек и общество в условиях бедствий (Влияние войны, революции, голода, эпидемии на интеллект и поведение человека, социальную организацию и культурную жизнь)*).

В свете сказанного структура настоящего номера „Миргорода“ не совсем обычна: он оформлен как „ретроспекция“ *Трёх разговоров* Владимира Соловьева с их важными идеями, а также содержит тексты литературоведческих статей и рецензии. В плане собственно эпистемологическом предлагаемый материал отражает ситуацию нынешних дискуссий в области литературоведения, которую очень хорошо определил современный немецкий филолог как спор между требованием ре-филологизации литературоведения, с одной стороны, и переводом его в область культурологии, с другой: „der Streit zwischen der Forderung nach einer Rephilologisierung der Literaturwissenschaft auf der einen und ihre Überführung in die Kulturwissenschaft auf der anderen Seite“¹.

Сейчас трудно говорить о дальнейших судьбах нашего журнала, который по своему замыслу 2008 года (Донецк – Седльце – Лозанна), а также по своей внутренней форме в названии и сути „сопротивляется“ всему, что сегодня происходит между Украиной и Россией.

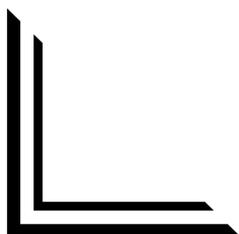
Roman Mnich,
Warszawa, AD 2022

¹ Achim Geisenhanslücke: *Textkulturen. Literaturtheorie nach dem Ende der Theorie*. Paderborn 2015, S.14.



Три разговора

о войне, прогрессе и конце теории



ИВО ПОСПИШИЛ

Университет Масарика
(Брно, Чешская Республика)

ORCID: 0000-0001-8358-0765
e-mail: Ivo.Pospisil@phil.muni.cz

**ЮБИЛЕЙНОЕ, или разговор
о сущностях современного литературоведения и не только**

**THE JUBILEE, a Talk about the Essence
of Contemporary Literature Studies and Beyond**

Abstract

The present interview created by Roman Mnich, a Polish slavist, and literary scholar of international reputation, and Ivo Pospíšil, a Czech slavist, and comparatist, contains several thematic spheres concerning the evolution of a researcher, his biographical data and important life events mostly related to philology, literary criticism, and their conceptions as well as individual understanding including the educational process in secondary schools and universities, both in the past and in the present with a concise future prospect. The slavist mentions his interest in immanent methods, Russian formalists, and Czech structuralists, and critically comments upon contemporary condition of literary scholarship, Slavonic Studies in general, and his favourite books.

Keywords: life in/with literary criticism, university education, methodology of literary criticism, favourite books

„После смерти
 нам
 стоять почти что рядом:
 вы на Пе,
 а я
 на эМ“.

(Владимир Маяковский, *Юбилейное*)

РМ: Дорогой Иво, прежде всего, конечно, слова благодарности за то, что Ты согласился на разговор и нашёл для него время. Я надеюсь оформить этот диалог в цельный текст, посвященный не только заявленным в заглавии *сущностям* нынешнего литературоведения, но другим, интересным для филологов и вообще – для гуманитариев, проблемам. Я сознательно озаглавил наш разговор аллюзией на стихотворение Владимира Маяковского, из которого взял эпитафию только потому, что упоминаемые в нем буквы совпадали с первыми буквами наших с Тобой фамилий. Понятно, что это только постмодернистская игра значений, без какого-либо намека на идейные смыслы стихотворения Владимира Маяковского, и уж тем более – без намека на апокалиптические аспекты (хотя время сейчас весьма и весьма *осевое* и эсхатологическое). Текст Вл. Маяковского апеллирует к вечности, ради которой стоит „потерять часок-другой“, чтобы жизнь „встала в другом разрезе“ и „большое понималось через ерунду“, но самое важное – он заканчивается призывом „обожания жизни“, в свете которого никакое „после смерти“ уже не страшно. После такого объяснения мой первый вопрос – как Ты сам воспринимаешь этот свой жизненный рубеж?

ИП: Теперь любят говорить, что возраст – это только цифра, но это не так. Другие говорят, что человек меняется каждые семь лет и это, наверное, магическое число, но, кажется, приблизительно соответствует истине. В течение сравнительно короткого времени человек резко меняется, „падает“, дегенерирует, теряет как будто бы паразитически внезапно некоторые свои способности. Все это реже видно в работах ученых, но чаще у медиально известных людей, поп-звезд, модераторов, у которых в СМИ свои собственные программы на годы: тут дегенерация, упадок, обусловленный возрастом, очевидны. После моих 27 лет во главе брненской славистики и 47 лет работы в универ-

ситете все дальнейшее зависит от состояния здоровья, интеллектуальных способностей и, главным образом, от общей обстановки и условий в славистике, на факультете и в университете. Все ведь теперь везде сложно, как никогда раньше в близком прошлом: пандемия и другие инфекционные болезни, наступающие, главным образом, именно пожилых, старых, дальше – глубокие экономические кризисы, прежде всего энергетический и продовольственный, угрожающие всемирной катастрофой, ужасная инфляция, локальные войны, вездесущий страх. Но все-таки этот жизненный рубеж я считаю возможностью суммировать, резюмировать, подводить итоги, результаты работы, возможностью завершить определенные темы, не избегая и новых открытий, изобретений, если так можно выразиться. Может быть, случится, что и в этом возрасте можно прийти к релевантным выводам, но все это в руках божьих.

Однако упадок сил, усталость и смерть неизбежны. Когда я бродил по городским улицам в течение двух лет пандемии, я часто видел дряхлую старушку, полуслепую, одинокую, и смотрел, как она идет ощупью, постукивая сумочкой об углы домов; примерно по той же самой траектории идет каждый из нас, и дорога старушки – это грустный, трагический символ человеческого пути. В этом смысле ни философия, ни искусство нам не помогут, не принесут утешения, хотя человеческие „реакции“ на безысходность смерти и судьбы, будто бы наперекор сказанному, находятся издревле во многих текстах, например, в *Библии*; утешительные жанры, жалобы, упрямство и тотальный скептицизм, как, например, в *Книге Иова* или *Экклезиаста*, и темы сумасшествия (литература инсаний) и самоубийства (суицидальная литература). Остается литература и её теоретическая рефлексия как, пожалуй, единственный способ жизненного уравновешивания.

РМ: После такого, немного пессимистического вступления, обратимся к твоему опыту, жизненному и научному, в связи с чем, первый мой вопрос: почему Ты как студент выбрал филологию (русскую и английскую)?

ИП: Заранее извиняясь, я начну, так сказать, издали. Я учился в средней школе в западной Моравии, примерно 60 километров в северо-западном направлении от Брно, где я потом с 70-х годов прошлого века жил и живу. Наша система обучения подвергалась перма-

нентным реформам со времён Австро-Венгрии: мой дедушка посещал институцию, называемую по-чешски в сокращении „reálka“ (ориентация на точные и естественные науки); он мне не раз говорил, что в старости ему снились ужасные сны, но не о боях на фронтах где-то в Галиции в годы Первой мировой войны, в которой он как австрийский солдат и позже чехословацкий легионер принимал участие, а о проверке уроков по начертательной геометрии. Мои родители стали выпускниками так называемой реальной гимназии и частично реальной реформированной гимназии (речь шла о соотношении живых и мёртвых языков), после 1945 года были четырехлетние гимназии, которые заменили семилетние или восьмилетние. Потом мы перешли на советскую систему десятилеток, позже в начале 60-х годов на смену советской школе пришла всеобщая образовательная средняя школа, которая существовала лишь три года – и я, выпускник именно такой школы, могу, наблюдая современное образование и его уровень, сказать: это была очень хорошая школа, так как причина состоит не столько в системе, сколько в людях, как всегда. В 1968 году стали возникать восьмилетние гимназии рядом с четырехлетними, после подавления Пражской весны восьмилетние были отменены, но четырехлетние остались. Такие вещи потом повторялись и в вузах, то есть разного рода переименования университетов, так что я, например, выпускник Брненского университета им. Я.Э.Пуркине (видный чешский естествовед и полиглот, который работал и в Пруссии, в университете нынешнего польского города Вроцлава; как известно, этот город был основан чешским королём Вратиславом и как составная часть Земель Короны чешской назывался Вратислав), теперь так называется университет в северно-чешском городе Усти-над-Лабем (по-немецки Aussig). В 1990 году Брненскому университету вернули имя первого чехословацкого президента Масарика. Жизнь зачастую в такой абсурдной и гротескной среде вызывала, естественно, интерес к вымыслу, фикации, фантазии, беллетристике. В средней школе я встретил настоящих знаменитостей, в том числе видного сюрреалистического поэта и всемирно известного, прославленного художника, изобретателя новых форм искусства, всеми обожаемого экспериментатора Ладислава Новака (1925-1999), который преподавал чешский, историю и латинский; повлиял на меня и преподаватель химии (я хотел сначала заняться в вузе именно химией), человек широких горизонтов, у которого я брал книги по философии, интересный был

и учитель биологии. У каждого были, разумеется, слабые и сильные стороны. Филологи были скорее практиками, чем теоретиками, мыслителями и учеными, но (кроме химии) мне стало вскоре ясно, что я буду заниматься языками, литературами, а именно чешским и английским, хотя у меня – кроме русского – был первым иностранным немецкий, кроме мертвого – латинского. Это было время конца 60-х годов прошлого века, связанное у нас с событиями 1968 года и я, будучи шестнадцатилетним, очень занялся политикой и участвовал в конкретных действиях, но об этом я не буду распространяться, хотя все это сильно формировало меня; но это материал скорее для обширных воспоминаний... После вторжения армий пяти государств Варшавского договора 21 августа, никто не хотел заниматься русским языком, но это вскоре кончилось. Один преподаватель сказал нам, реагируя на наше отвращение к русскому, так: мы не будем бросать грабли, потому что поссорились с садоводом. Наше чешское отношение к русскому, России и русским имеет, однако, свою историю и нельзя сравнивать несравнимое, то есть конец 60-х годов прошлого века с современностью. Специальность чешский язык в комбинации с английским – именно это я выбрал – в 1970 году не открывали, и я был, таким образом, буквально принуждён, не желая терять английский, выбрать русский и английский. Некоторые иронически говорили, что эта комбинация охватывает весь мир и содержит внутренний конфликт – языки супердержав. Русский я стал интенсивно изучать, чтобы сдать вступительный экзамен, это было трудно и я обязан своей маме, между прочим, учительнице русского (она скончалась в 2018 году в возрасте 90 лет), которая со мной самоотверженно занималась. Чешский я стал изучать лишь в 80-е годы и закончил в 1990 году работой на чешско-словацкую тему, так что у меня тройная комбинация английского, русского и чешского. Причина интереса к филологии, следовательно, коренится еще в моих преподавателях средней школы.

РМ: В связи со сказанным Тобой, как отличалась твоя учеба от сегодняшней ситуации в университетах?

ИП: Учеба в Брненском университете в 70-е годы XX века была до определенной степени автономной, хотя на нее и влияли внешние обстоятельства, но для нас, студентов, влияние это было периферийным, хотя время было с политической точки зрения трудное, но, го-

воря словами Булата Окуджавы, „у каждой эпохи свои подрастают леса...“, почти всем пришлось делать разные уступки. Благодаря заслугам политически сильных, но, на самом деле, либеральных людей, именно философский факультет нашего университета сохранил свой солидный, серьезный характер, что несравнимо с некоторыми другими факультетами того же университета или, например, с Прагой.

Главнейшая проблема современных университетов и науки как таковой в университетах и в академиях наук – это разделение власти. Роль бывших творцов, создателей, инициаторов и тех, кто руководит – академиков, профессоров, сегодня редуцирована до неузнаваемости. В годы первой Чехословацкой Республики в университетах были, как в каждом демократическом государстве три столбы правления на уровне политики; в государстве – это власть исполнительная, законодательная и судебная, а в университетах – руководство, возглавляемое деканом, академический сенат и собрание профессоров, независимое как от выборов, так и от руководства. Я был убежден, что после 1989 года это к нам вернется с Запада, но позже увидел, что и там эта система разлагается, подражая нашей до этого времени доминирующей дирижерской системе. В собрании профессоров обсуждалось качество и ориентация научной работы. В настоящее время все в руках чиновников (так называемых менеджеров, о революции которых мы могли читать еще в 50-60-е годы прошлого века), которые, может быть, способны что-то организовать, у них есть даже научная квалификация, но нет настоящего опыта системной научной работы. Власть в науке реализуется посредством разных, всегда „безошибочных“ комиссий, так называемых экспертов, сети бесконечных эвалюаций и аккредитаций, кредитных систем и так далее, причем критерии расплывчаты, почти всё анонимно (будто бы из-за мнимой объективности), так что никто не знает, кто оценивает и, главное, кто они, эти оценщики. То, что такое отчуждение изображено в литературных дистопиях XX века, бросается в глаза... Так что тенденция к объективности парадоксально приводит к высокой степени субъективности; далее об этом не буду распространяться. Почти то же самое касается и так называемых престижных датабаз или журналов и издательств. Таким образом, научная работа, эта зачастую мучительная деятельность, возникающая и ночью, на прогулке, при самых разных обстоятельствах, интуитивно, буквально 24 часа в сутки, механически нормируется и, главным образом, централизуется;

и у науки свои господа и вновь говорят о едином потоке научной работы. Это нам хорошо известно из прошлого.

В отличие от всегда остро политически ориентированных филологов в чешской столице – и эта традиция продолжается – филология у нас была ориентирована в более или менее скрытом виде на традицию автономных, имманентных методов русской формальной школы, Пражского кружка, структурализма, частично и феноменологии, ведь её основатель Эдмунд Гуссерль родился в Моравии в городе Proßnitz, по-чешски Простейов; именно в Моравии родилось ещё несколько знаменитостей – Зигмунд Фрейд/Freud, Эрнст Мах (кто не помнит рассерженную ленинскую полемику в *Материализме и эмпириокритицизме*), математик всемирной известности Курт Гёдель / Gödel... Отсюда вытекает и моя изначальная методологическая ориентация на изучение жанров и направлений, форм, исторической и теоретической поэтики.

РМ: Ты вспомнил нашумевшую в своё время книгу Ленина. В связи с чем я хотел бы спросить о сегодняшнем отношении к марксизму, не только твоём личном, но вообще – европейском?

ИП: Марксизм в классической и более современной форме преподаётся – в отличие от наших университетов (за исключением некоторых преподавателей) – в американских и западноевропейских университетах как составная часть философии и политической экономии, но есть и неомарксисты, так что следы этого учения можно найти в XX веке во Франкфуртской школе, в интернациональных доктринах, связанных с применением некоторых тезисов Маркса и его последователей, включая Троцкого и Ленина, менее ревизионистов, как, например, Эдуард Бернштейн, в названиях должностей и решениях разных сверх-национальных органов, восходящих к Французской революции и Парижской коммуне. И, таким образом, признаётся важность марксизма и его вариантов, что, наверное, поражало бы всех, кто видел после 1989 года на улицах городов и сёл собрания сочинений классиков марксизма, тогда решали, сжечь ли их или сдать в макулатуру. Меня всегда удивляло, что наши современные политологи в своём большинстве игнорировали и классический этап марксизма, и это были зачастую люди, играющие ведущие роли в практической высокой политике. Если компетентно критиковать и отрицать, то необходимо знать и анализировать. Меня интересовал скорее классический

марксизм XIX века, всё, связанное в XX веке с его прикладными этапами, приведшими к катастрофам, геноциду и человеческим трагедиям, разумеется, меньше, но я читал об этом – как дитя 60-х годов XX века – сравнительно много.

Что касается литературоведения, это у нас был скорее какой-то обязательный, одновременно и охранительный идеологический штамп; у нас был под сомнением как слишком туманный и сам термин „марксистское литературоведение“, так как этот метод остался, на мой взгляд, конкретно неразработанным. По-моему, здесь возникает, как почти всегда у объемных учений, разрыв между теорией и практикой, между общими тезисами и конкретным применением. Как будет выглядеть настоящий марксистский анализ художественного текста, если пропустить общие фразы и констатации? Раньше марксизм отождествляли с социологией литературы, позже искали слишком универсальные, комплексные, точнее эклектичные, подходы. Но, может быть, я ошибаюсь.

РМ: Что Тебе запомнилось больше всего из студенческих лет? Кого считаешь своими учителями и почему?

ИП: Прежде всего требовательность, однако и снисходительность, дисциплина, сравнительная свобода научных взглядов, вытекающая из взаимного доверия преподавателей и студентов, глубокий интерес, трудолюбие, с одной стороны, и студенческие развлечения, иногда и немного богемный образ жизни, с другой. Благодаря социальным стипендиям и, главным образом, стипендиям по успеваемости, а также возможности частных уроков, так как языки были в моде, у меня была возможность жить с небольшой родительской поддержкой спокойно, солидно. То, что запомнилось, именно по сравнению с современным состоянием, это прочные взаимоотношения учителя и ученика, связь поколений, разумеется, и с естественными, на самом деле, плодотворными конфликтами, и вообще более высокий уровень образованности студентов, их знаний и общих представлений. Хотя и мы как студенты видели на факультете разный уровень преподавателей, их способностей и настоящей глубины их знаний, но мы вели себя скромно, сдержанно, учтиво, так как нашей целью было как можно больше узнать, овладеть знаниями и способностями, не властью над людьми, и этому можно было учиться у всех, то есть до определенной степени и у менее одаренных и менее образованных преподавателей.

давателей и ученых. По сравнению с моим студенческим прошлым сейчас очевидна потеря уважения к ремеслу, то есть к конкретным умениям, приемам в науке и к традиции. Сравнительно часто я встречаюсь с тем, что студенты не знают почти ничего об истории своей специальности, о предтечах своих преподавателей, о знаменитых ученых факультета – это досадно. И, сверх того, любовь к „легким“ темам, в границах которых можно болтать, суммировать, демонстрировать статистики, прибегать к журналистским подходам, модно и поверхностно политизировать по преобладающему течению общественной мысли, просто тяготеть к механическим знаниям. Если говорить о лингвистике, то явно тяготение к периферийным дисциплинам и темам, в которых лишь слабо проглядывает настоящее мышление о языке; например, мало кто занимается синтаксисом, по-моему, вечным ядром лингвистики. В рамках литературоведения то же самое в случае поэтики, сравнительного литературоведения, которое занимается скорее культуроведением, культурной антропологией и ареальными исследованиями (но, зачастую, лишь поверхностно, описательно, статистически), рецепцией одной литературы в границах другой, а не тем, как строится артефакт, глубинными вопросами, которые свойственны именно литературоведению как науке. Признак нашей эпохи – утрата преемственности, континуитета, многословие, фразерство, бесконечные повторения разного рода штампов. Как сторонник имманентных методов, я мог бы радоваться, но меня скорее тревожит то, что студенты получают зачастую пофидерные знания о том, как преподавать, но не что преподавать.

Мои учителя или скорее учителя науки: в Брно лингвисты-русисты Роман Мразек и Станислав Жажа, литературовед, русист и романист Ярослав Мандат, англисты-литературоведы Лидмила Пантучкова, автор уникальной, кажется, до сих пор не превзойдённой английской монографии о Теккере как литературном критике (у неё я писал итоговую работу о Байроне и Лермонтове), Алеш Тихи, специалист по роману XVIII века. У каждого был свой подход и приемы, не все были блестящими педагогами, но все были настоящими знатоками литературоведческого ремесла, умели читать литературу, вдохновляясь скорее формальными методами. В переносном значении к ним относились и богемист-литературовед, в годы первой Чехословацкой Республики молодой член Пражского лингвистического кружка, медиевист, поэтолог, стиховед Йосеф Грабак, и Зденек Мат-

хаузер, русист, знаток русского авангарда, философ-феноменолог не легкой судьбы, реформатор 60-х годов прошлого века, из словаков – Диониз Дюришин, известный компаративист, я был членом его исследовательского коллектива, русист и антрополог литературы Андрей Червеняк, оба русины по происхождению, Франтишек Каутман, прозаик, поэт, литературный критик и теоретик, член лондонского Общества Достоевского. Первое Общество Достоевского основал, как известно, Альфред Бем в Праге, Каутман возобновил его деятельность в 90-е годы XX века совместно с двумя молодыми исследовательницами – Милушой Бубениковой и Радкой Гржибковой; Каутман – кандидат наук Московского университета периода оттепели, знаток русского литературоведения, со-организатор прославленной международной конференции о Кафке 1963 года; некоторые стали со временем моими друзьями, с которыми я регулярно встречался.

РМ: С каких пор Ты начал писать стихи? Не хотел ли стать поэтом и писателем в профессиональном смысле?

ИП: Я стал писать стихи, как и большинство молодых мужчин, в годы юности, в пубертальный период, и перестал со времен пребывания в вузе; таланта явно не было. Я встречался с некоторыми писателями, в том числе и поэтами, об одном даже написал маленькую монографию, они советовали продолжать, кажется, по вежливости, но у меня не было охоты. Только по случаю издания межпоколенческого сборника в 2019 году, который я инициировал и отредактировал, я в виде исключения написал пару стихотворений, но, по-моему, заурядных, скорее неудачных. Когда в 90-е годы XX века возник чешский академический словарь писателей после 1945 года, статью обо мне написал мой друг и сверстник, богемист и англист, к сожалению, уже скончавшийся, Благодислав Докоупил, автор книг и статей об историческом романе. Так и вышло в печати. После его кончины редакторы обратились ко мне, чтобы статью проверить и дополнить, но я отказался и сообщил, что я не писатель в настоящем значении, я лишь литературовед и критик. Беглый взгляд на словари писателей или, например, философов свидетельствует о неправильном понимании границ разных деятельностей.

РМ: Что Ты можешь сказать о своих первых научных интересах и первых публикациях?

ИП: Если приводить научные, то есть филологические или даже литературоведческие интересы, то это связано с моей ювенильной компаративистикой, по моим дисциплинам на базе русско-американской; я даже выиграл чехословацкий студенческий конкурс в своей категории и получил диплом, подписанный тогдашним министром образования, президентом академии наук (тема: Купер и Россия, Тургенев и Америка). Позже меня заинтересовали литературные аутсайдеры, то есть исключительные, в стороне стоящие авторы, и маргинальные жанры, в том числе хроники и романические хроники. На одной Брненской конференции (если я хорошо помню, в 1988 году), в которой участвовал и известный учёный Юрий Владимирович Манн (1929-2022), я прочитал доклад о двух аутсайдерах русской литературы – Фаддее Булгарине и Николае Лескове, взаимно связанных методами работы. Манн оценил доклад положительно. Там я с ним лично познакомился и мы разговаривали на разные темы – гласность и перестройка были в полном разгаре. Первая моя научная публикация появилась лишь в 1983 году – *Русский роман-хроника*. Издавать книги было тогда нелегко. И у этой книги была своя история. Она была основана на кандидатской диссертации, которая была защищена с трудом. Всегда вокруг моих работ и деятельности было много шума, и это продолжалось долгое время: непрестанное давление и унижение; но были друзья и покровители, иначе нельзя было бы пережить – вот такова судьба. Во главе Пражской государственной комиссии стояла жена высокостоящего функционера центрального политического органа, но это, однако, скорее история для мемуаров. Меня упрекали в использовании чужих терминов, чужой методологии, обвиняли в том, что я импортирую из СССР вредный структурализм, и так далее. Совещание комиссии длилось 4 часа; все время я сидел в коридоре с женой, которая пришла, думая, что это уже конец. Я был позже хорошо информирован обо всем и о заслуге нашего замдекана, женщины, видного специалиста мировой известности по фонологии и детской речи, которую высоко оценивал и Роман Якобсон. Обложку книги обещал сделать мой друг, известный художник, с мотивом православной церкви, но это запретили под предлогом, что он не член официального союза художников. Книга наконец-то вышла с каким-то неразборчивым фаллическим символом. Художник рассердился, что я книгу издал без его проекта обложки, так что у меня вдруг возникли неприятности с обеих сторон.

РМ: Какую свою книгу Ты считаешь самой важной?

ИП: Это, главным образом, две книги: *Лабиринт хроники* (1986), особое продолжение хроникальной темы, и *Русский роман, снова посещенный* (2005). Это что касается разного рода открытий. Но из концептуальной и методологической точек зрения наиболее важные – *Жанрология и модификации литературы* (1998), *Славистика на перекрестке* (2003) и *Славистика как чешское фамильное серебро* (2004). Все они написаны на чешском языке, может быть, ещё две книги о Центральной Европе, одна по-чешски и одна по-английски и коллективные лексикографические работы и, пожалуй, отредактированные отдельные серии изданий (ареальные исследования, история славистики, словакистика и чешско-словацкие связи), две книги исследований о русской литературе, теории, методологии и Центральной Европе, изданные по Твоей заслуге по-русски в Седльце; может быть, и *Словакистские рефлексии* (2017), *Русская литература: встречи и конфронтации* и *Литература и ее трансценденции* (обе 2020, на разных языках – чешском, словацком, русском, английском). Кажется, я назвал слишком много, но надо учитывать, что их совместно свыше сорока.

РМ: Что Ты не успел или не смог написать, то есть о чем сейчас жалеешь??

ИП: Много внимания и времени я уделял организации славистов и концепции международной и чешской славистики, был и председателем Чешского комитета славистов (1998-2003), что не нравилось чешским/пражским консерваторам, любящим власть – все это я уже описал в своих книгах и брошюрах и трудно верить, что такие обстоятельства и межчеловеческие отношения могут существовать в академической среде. С этой точки зрения мой личный опыт предвосхитил то, что теперь нормально, но раньше было немислимо: непримиримая зависть и ненависть, даже в международных научных кругах. Теперь мне этого жаль, так как то, что было сформировано на конгрессе в Кракове в 1998 году, под давлением консерваторов из разных стран рухнуло, и всё вернулось еще на более низком уровне к старым порядкам – везде. Я также разочаровался в смысле коллективных научных организаций, в конгрессах, в которых я принимал регулярное участие, лучше не буду приводить их названия.

Есть у каждого в голове разные проекты, как сейчас любят говорить, точнее говоря, планы на будущее; среди них самым важным мне представляется история литературы, так как именно она была в XX веке до определенной степени игнорирована, за исключением последних 20-30 лет. Например, история мировой/всемирной литературы, истории отдельных национальных литератур, история литературных ареалов, у нас, например, Центральной Европы, Балкан, Восточной Европы, разумеется, в том числе, славянских литератур, русской литературы, но с индивидуальным, а не коллективным авторством, чтобы в ней была особая методологическая сплочённость и „философия“, оригинальная концепция и отпечаток национального опыта, то есть, например, чешская история русской литературы.

РМ: Какие литературоведческие книги русских авторов Ты считаешь самыми важными для XX века и почему?

ИП: Я скорее сторонник плюралистического видения литературы, разноречия методов, гетерогенности литературоведения, однако не методологического эклектизма, хотя прекрасно понимаю неизбежность определенной методологической дисциплины в рамках одной школы, одной доктрины и учения. Как известно, лидеры разных школ иногда принуждали членов этих школ соблюдать так называемую верность методу. Это очевидно, например, в связи с Пражским кружком, так как Роман Якобсон исходил понемножку из русского понимания кружков как почти политических объединений. Подобные слова я слышал о себе и от Диониза Дюришина: членом его исследовательского коллектива я состоял с начала 90-х годов XX века вплоть до его смерти в 1997 году. Из Романа Якобсона я привожу – немного атипично – его маленькую работу о статуе в творчестве Пушкина (первоначально на чешском языке: *Socha v symbolice Puškinově*, 1937, опубликованную в журнале чешских структуралистов „Slovo a slovesnost“). Одно маленькое воспоминание, если не ошибаюсь 1973 года. В Брно стажировался тогда молодой американский славист Джон Бербенк (John Burbank), который готовил перевод этой чешской статьи на английский. С ним я, будучи еще студентом, встречался и разговаривали на разные темы. Позже перевод был опубликован под названием *Pushkin and His Scultural Myth* (Mouton, The Hague, 1975). Бербенк рядом с Петром Стейнером (чех Петр Штайнер, теперь professor emeritus, University of Pennsylvania, в последние десятилетия частый гость

в Чехии) систематически переводили работы чешских структуралистов, в особенности Яна Мукаржовского. В чешской среде русские литературоведы сыграли ключевую роль (в далёком прошлом – Александр Веселовский, учитель словенца Матия Мурко, пражского учителя Франка Воллмана, основателя Брненской литературоведческой славистики). Они принадлежали к разным методам – сам Роман Якобсон, Евгений Ляцкий, Альфред Бем, Владимир Францев, раньше профессор Варшавского университета, Сергей Вилинский. Однако кроме Пражского лингвистического кружка, основанного совместно Якобсоном и чешским англистом Вилемом Матезиусом, здесь было и Историко-литературное общество, исходящее из более традиционных подходов, позитивизма, психологизма, „духоведения“. К нему близко стояли, например, Войтех Йират, Карел Крейчи, Арне Новак, Ян Войтех Седлак, Вацлав Черны и другие. Его продолжателем сейчас является Литературоведческое общество Чешской Республики, которое я примерно 10 лет (до 2018 года) возглавлял. Оно действовало интенсивно именно в межвоенный период, но и позже, когда его председателем был сын Франка Воллмана, славист и компаративист Славомир Воллман, а секретарём Милош Зеленка, мой постоянный сотрудник и друг. Мой выбор, следовательно, разнообразный, скорее противоречивый; кроме корифеев, то есть известного „троезвездия“ – Михал Бахтин, Дмитрий Лихачёв и Юрий Лотман – это, на самом деле, русские формалисты на всех этапах их развития, историки литературы, ученые. Если привести конкретные названия, то среди них, например, *Проблемы творчества Достоевского* (1929) М.Бахтина, труды феноменолога Густава Шпета (кроме общих трактатов, как, например, *Феноменология как основная наука и ее проблемы*, 1914, или *Герменевтика и ее проблемы*, 1918 – это *Философское мировоззрение Герцена*, 1921; многие работы появились в его современном *Собрании сочинений*; *Поэтика древнерусской литературы* (1967) Д.Лихачёва, классические *Лекции по структуральной поэтике* (1964) Ю.Лотмана, работы Михаила П. Алексева, в том числе, кроме книги о Пушкине (1972), его ранние исследования, например, о Марлинском, о Дефо и Сибири, об Иване Шидловском (Одесса 1921), по происхождению поляке (Szydłowski), как раннем друге Достоевского и так далее. И, главным образом, Дмитрий Чижевский, которого я открывал постепенно, в последнее время посредством Твоей фундаментальной, блестящей книги. Я мог бы еще привести работы Виктора Шклов-

ского, Бориса Эйхенбаума, Романа Якобсона и других, но я, намеренно, предпочитаю, в этом случае, скорее полузабытые, маргинальные работы, которые сыграли свою роль в подспудном познании литературного артефакта и его более широкого фона.

РМ: А какие литературоведческие исследования европейских авторов XX века были самыми важными??

ИП: Европа именно в XX веке „экспандировала“, трансцендировала в другие континенты свои достижения, главным образом в Америку, в особенности в США, тем более, что она сама лишь культурный полуостров Азии. Трудно абстрагироваться от таких американских европейцев, какими были, например, Роман Якобсон, Дмитрий Чижевский, Рене Уэллек. На всякий случай укажу: Ernst Robert Curtius: *Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter* (1948); Jan Mukařovský: *Kapitoly z české poetiky* (1948); Roland Barthes: *Le Degré zéro de l'écriture* (1953); Julia Kristeva: *Le Texte du roman* (1970); Tzvetan Todorov: *Poétique de la prose* (1971); Hans Robert Jauss: *Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft* (1967); Galin Tihanov: *The Master and the Slave. Lukács, Bakhtin, and the Ideas of Their Time* (2000). Я привёл лишь несколько примеров книг, которые я считаю важными, но это вообще не значит, что я согласен с результатами и взглядами их авторов. В последнее время я вижу настойчивое тяготение некоторых литературоведов определённого поколения к медийной популяризации во что бы то ни стало: тот, кто только пишет тексты – это мёртвый человек, сама литература будто бы не может существовать без визуализации. Это в порядке, литература и литературоведение, таким образом, вновь приобретают свои общественные позиции, но, с другой стороны, это приводит к упрощениям, а нередко и к смысловой деформации настоящего состояния литературы и ее читательского восприятия. Медиализация литературы – да, но не за счет ее глубинного изложения. Именно в связи с интерпретацией культурных и литературных продуктов так называемой Восточной Европы литературоведение приходит к упрощениям и одностороннему видению, которое на так называемом Западе воспринимается как реальность. Несносна, главным образом, некая родительская снисходительность по отношению к Восточной Европе, под которой подразумевается скорее Центральная Европа. По этим холодно-военным представлениям Прага лежит на Востоке, а Хельсинки на Западе.

РМ: Аналогичный вопрос о чешских литературоведах XX века.

ИП: Как я уже упомянул, и чешские, и русские, и польские и другие „восточные“ литературоведы представляют собой в некоторых случаях европейскую и мировую вершину. Почему это так? Я убежден, что это частично связано с характером славянских литератур, с их странной траекторией развития, которую я называю *пре-пост эффект*. Именно аномальная эволюция этих литератур как материала литературоведения – теории и истории – провоцирует поиски новых путей, ведет к открытию новых окон в разные стороны, к побочным результатам, к новому видению артефакта. Сам Якобсон в своем последнем выступлении на территории бывшей Чехословакии в рамках пражского Константиновского симпозиума в 1969 году провозгласил, что он чувствует себя чехом; поэтому я могу приводить и его работы. То же самое касается и Рене Уэллека, наполовину чеха, о его чехословацком периоде мы с М.Зеленкой написали и издали в Университете Масарика в 1996 году отдельную книгу (*Рене Уэллек и межвоенная Чехословакия. К источникам структуральной эстетики*). Но из, так сказать, автохтонных чешских литературоведов и их произведений, можно привести следующие имена: слависты и компаративисты, отец и сын, Франк Воллман/Frank Wollman и Славомир Воллман /Slavomír Wollman, романист, богемист, компаративист и литературный критик Вацлав Черны/Václav Černý, славист, компаративист, полонист Карел Крейчи/Karel Krejčí, Йосеф Грабак/Josef Hrabák и почти все его работы, в особенности о древнечешской литературе, его чешскую *Поэтику*, книги и статьи по стиховедению (его ювенильное сравнение чешского и польского стиха и анализ чешской готической поэзии XIV века, именно школы Смилы Флашки из Пардубице, изданные в серии работ Пражского лингвистического кружка), Войтех Ёират/Vojtěch Jirát, представитель чешского „духоведения“. Многие из чешского литературоведения второй половины XX и первой трети XXI веков – в отличие от словацкого – неоригинально, поверхностно, подражает модным веяниям. Исключения представляют Владимир Мацура /Vladimír Macura (работы *Примета рождения/Znamení zrodu* о чешском национальном возрождении XIX века, а также семиотические работы) и Даниела Годрова/Daniela Hodrová (*Поиски романа /Hledání románu, Инициационный роман/Román zasněsení*), оба они также и беллетристы; можно привести и других, но их было бы сравнительно мало.

РМ: Какие десять книг по литературоведению авторов XX века должен обязательно прочитать сегодняшний студент и почему?

ИП: Проблема состоит в том, что я восхищаюсь, когда современные студенты читают беллетристику. Мы раньше читали сотни художественных текстов, сегодняшние студенты – десятки или еще меньше. Выбор литературоведческих текстов ограничен темами семинарных и дипломных работ, исключение составляют несколько одарённых студентов, но я могу ошибаться. Хотя наш мир выглядит хаотичным, аморфным, диким (как мне недавно написал один коллега), что напоминает французское „sauvage“ (или производное английское „savage“), которое, наверное, имел ввиду Пушкин, когда писал о неуважении к предкам, которое является признаком безнравственности и дикости, за всем этим просвечивают очертания нового мира и, в особенности, нового человека. Сомнительно, что в таком мире все эти обязательные чтения, каноны, мировые литературы и прочее найдут свое место. И связанные с ними эстетические ценности будут существовать, скорее пропадут; от них останутся лишь осколки, как из бывших пышных городов тотально забытых древних цивилизаций, разброшенных, например, в девственных лесах Амазонии. Нельзя остановить поток изменений, все, на самом деле, приветствуют это движение и тяготение, несмотря на потери – так было всегда и так будет и сейчас.

Такой список сравнительно легко составить, но он всегда будет неполным и крайне субъективным, учитывая сказанное раньше. С одной стороны, речь идет о доступных, в большинстве своём по-чешски написанных книгах, с другой, о репрезентативных книгах мирового литературоведения. Так что я решил составить два списка: оба представляют собой сейчас что-то вроде – в отличие от прошлого – максималистских требований. Совсем другой аспект, если речь идёт об общем литературоведении или о славистическом литературоведении. Что касается обоснования выбора: в первом списке речь идет о методологической репрезентативности отдельных публикаций, во втором обоснование приводится для каждой книги отдельно. Названия книг я привожу в оригинале:

- 1) Виктор Шкловский: *Теория литературы*
- 2) Михаил Бахтин: *Проблемы творчества Достоевского / Проблемы поэтики Достоевского*

- 3) Roman Ingarden: *Das literarische Kunstwerk*.
- 4) Дмитрий Чижевский: *Europa und Rußland*
- 5) René Wellek, Austin Warren: *Theory of Literature*
- 6) Galin Tihanov: *The Master and the Slave: Lukács, Bakhtin, and the Ideas of Their Time*.
- 7) Hans Robert Jauss: *Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft*.
- 8) Paul de Man: *Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism*
- 9) Jacques Derrida: *De la grammatologie*.
- 10) Stefania Skwarczyńska: *Wstęp do nauki o literaturze I.-III.*

Второй список:

- 1) Vojtěch Jirát: антология *Duch a tvar/Дух и форма*
Пример чешского литературоведческого духоведения (Geisteswissenschaft), новый взгляд на поэтику чешской литературы и развитие литературных направлений;
- 2) Václav Černý: *Esej o básnickém baroku//Эссе о поэтическом барокко, Essai sur le titanisme/Эссе о титанизме*
Заново открытый феномен чешского барокко, его реабилитация; работа по европейскому романтизму в рамках биографического и психологического методов;
- 3) Arne Novák: *Literatura českého klasicismu obrozenského / Литература чешского классицизма периода национального возрождения*
Новооткрытие классицизма в чешской литературе, пример историко-литературного труда с применением позитивистского и психологического методов;
- 4) Frank Wollman: *Slovesnost Slovanů/Литература славян*
Уникальное произведение с 1928 года, заново опубликованное в 2012 году и раньше в немецком переводе; комплексная, идеографическая и морфологическая (эйдологическая), структурная картина развития славянских литератур по отдельным культурным эпохам; тогда, к концу 20-х годов XX века, настоящее новое слово в сравнительной литературоведческой славистике;
- 5) Jan Mukařovský: *Kapitoly z české poetiky/Главы по чешской поэтике*
Классическая книга чешского структурализма, собрание ключевых статей его корифея, принципы структурного подхода на материале чешской литературы;

- 6) Karel Krejčí: *Česká literatura a kulturní proudy evropské / Чешская литература и европейские культурные течения*
Оригинальная сравнительная работа, демонстрирующая чешскую литературу в европейском контексте;
- 7) Josef Hrabák: *Smilova škola/Школа Смилы*
Стиховедческая работа о чешской средневековой литературе, когда (в XIV веке) чешская литература стояла на европейской вершине;
- 8) Vladimír Macura: *Znamení zrodu/Примета рождения*
Опыт семиотического анализа чешского национального возрождения, своего рода демифологизация этого феномена;
- 9) Daniela Hodrová: *Román zasvěcení/Инициационный роман*
Работа чешского литературоведа и беллетриста о романе инициации, продолжающая ее *Поиски романа*;
- 10) Pavel Jiráček: *Od slov k lyrickému vědomí / От слов к лирическому сознанию*
Посмертное издание последней работы талантливого чешского стиховеда, в котором творчески изложен новый подход к сущности лирического восприятия.

ЖУЖА ХЕТЕНИ

Университет имени Этвеша Лоранда (ELTE)
(Будапешт, Венгрия)

ORCID: 0000-0003-2144-9002
e-mail: hetenyi.zsuzsa@btk.elte.hu

ДРУГИЕ БЕРЕГА

(о венгерской славистике и Владимире Набокове)

‘The Other Shores’

(on the Hungarian Slavic Studies and Vladimir Nabokov)

Abstract

The author argues that the boycott of official Russian culture at present is important and provides its reasons and forms. While all forms of anti-Russianism in Ukraine are understandable, the anti-war intelligentsia should not be left alone, because after the Putin regime, there must emerge and there will be another Russia. The task of the humanities at present is to provide textual analysis, done especially by those in third countries. Science and higher education have been hit hard by the war. Literature itself cannot be blamed, only its interpretation can be used and abused. The Russian language as such is also suffering from the war temporarily since it became a symbol of aggression but in due course, it must be given back its role as a working language, as one of the languages of the world.

Keywords: boycott, War in Ukraine, cultural bridge, Slavic Studies in Hungary, Vladimir Nabokov, soft power, cancel culture

„Поймите, мир не тот, что был“
(Владимир Набоков, *Разговор*)

Второй разговор, который мы предлагаем читателю этого номера журнала, касается славистики в стране, занимающей вообще особое место как в истории Европы, так и в истории славистики в Европе. Речь идёт о Венгрии и о том, что представляет собой славистика

в сегодняшней Венгрии в глазах одного из ведущих венгерский славистов, профессора Будапештского университета Жужа Хетени. Жужа Хетени – не только преподаватель и исследователь русской и русско-еврейской литературы, но и переводчица на венгерский язык русской прозы авторов, о которых пишет (прозе Бабеля, Замятина, Булгакова, Хармса. Гроссмана, Войновича, Сорокина, русскоязычных еврейских авторов), и в этом смысле её опыт общения с русской литературой вдвойне ценен. Жужа Хетени также исследователь творчества Владимира Набокова, поэтому вторая часть диалога касается творчества и идейного мира этого всемирно известного русского эмигранта, классика американской и русской литературы одновременно.

РМ: Я хочу начать с очень простого вопроса, который, очевидно, является одновременно и весьма сложным: трудно ли быть славистом в Венгрии сейчас?

ЖХ: В Венгрии славистами называются специалисты всех славянских языков и культур/литератур, в том числе и украинского, кстати. В данном случае я могу ответить на вопрос как специалист по русской литературе (назовём СРЛ).

Начну с того, что я говорю от своего имени исключительно, потому что моя стратегия пока что стоит особняком. От этого тяжело вдвойне, ибо каждый шаг, раньше естественный элемент работы, требует многостороннего обдумывания.

Важно отметить, что среди моих коллег наблюдается весьма широкая разнообразность реакций на эту подлую войну, которую развязала российская правящая элита, когда навела русские войска в агрессии на независимую страну, Украину.

РМ: Извините, в таком случае, можно сказать, что война России против Украины изменила ситуацию славистики в Венгрии? Изменила радикально или просто поменялись какие-то отдельные тенденции и ориентации?

ЖХ: Дело именно в том, что должна была бы изменить. Для меня точно изменила. И безусловно изменилось восприятие нашей профессии, и всего русского. Например, я планировала организовать круглый стол для конференции переводчиков о литературе в Украине, и коллеги вдруг сказали, что выглядело бы странно, если бы я как специалист русского стала модератором, и пригласили вместо

меня англиста. Далее, когда я сделала замечание в разговоре об украинском авангарде, что у него были живые связи с русским авангардом, мои слова были приняты чуть ли не враждебно, коллеги утверждали, что ничего русское не должно быть связано ни с чем украинским. Перевод текстов русскоязычного украинского автора выполняет давно уехавший венгр с Закарпатья со слабым и непрофессиональным русским языком, видимо, по простому принципу доверия человеку с украинским паспортом.

Насколько я вижу (потому что разговора об этом нет), университетские коллеги продолжают работать, как ни в чем ни бывало. В этом, вероятно, и влияние неоднозначных официальных позиций венгерского правительства и страх за рабочее место. Они по-прежнему сотрудничают с российскими институтами, и даже с будапештским Русским Культурным Центром (РКЦ, организации Министерства иностранных дел России, которая с весны удвоила персонал и силы, в то время, когда по всей Европе подобные центры закрылись)¹. Фотографии наших студентов, которые, например, в разгар войны, 12 апреля 2022 года были приглашены туда на День Космонавта, как в добрые советские времена, выставлены на сайт рядом с патриотическими заявлениями о войне. В Венгрии в трех университетах работает кабинет организации „Русский мир“, который, на мой взгляд, тоже следовало бы закрыть – там ведется прямая пропаганда русской идеи. Коллеги, видимо, исходят из того, что в этих центрах студентам предоставляются широкие и бесплатные возможности изучения и практики русского языка. Эти две организации (РКЦ и „Русский мир“) принимали официальную делегацию русских писателей в ноябре 2022 года, в числе их – Евгения Водолазкина, и гастролями объехали университеты.

Простой венгерский народ, кстати, тоже раздвоен, потому что позиции венгерского правительства отличаются от всех европейских стран, оно поддерживает официальные связи с путинским режимом, министр иностранных дел ездит в Москву. Интересный эпизод прои-

¹ 25 ноября 2021 года в посольстве в Будапеште работало 46 российских дипломатов. К весне 2022 года, через несколько недель после начала войны, число российских дипломатов, работающих в посольстве в Будапеште, возросло до 50 человек, ещё 6 прибыли летом и ещё один – в конце октября. Для сравнения, после серии высылки сейчас в Лондоне находятся 35 российских дипломатов, в Варшаве – 20, а в Братиславе – 15. <https://444.hu/2022/11/30/egy-orosz-kem-magyarorszagra-akart-csempeszni-erzekeny-adatok-at-allitolag-a-vegbeleben> (02.12.2022).

зошел в июне, когда мой университет делегировал меня в Вену, на совещание объединения пяти университетов CENTRAL. Во вводных словах бывший австрийский дипломат довольно однозначно критиковал венгерскую политику, и я тоже выразила свое мнение открыто о том, что вместо правительства гражданские группы организовали помощь беженцам в первые месяцы. В последствии видео мероприятия не было опубликовано на сайте университета, как не было и интервью, на которое меня пригласили в последствии². Средний венгр, да и рядовые интеллигенты, проникнуты возродившейся чуть ли не инстинктивной русофобией по памяти более ранних оккупаций – 1849, 1945 и 1956. На стенах появляются надписи, которые висели в 1989 году: „русские домой“. И это влияет и на взгляд на нашу профессию.

РМ: Из того, что Вы говорите, можно сделать вывод, что у простых венгров и у интеллигенции совсем по-другому работают механизмы исторической и культурной памяти (в сравнении, например, с чехами или поляками, не говоря об украинцах)? Не все помнят русскую интервенцию 1849 года и русские танки в Будапеште 1956 года?

ЖХ: Так называемый *civil society*, как и в Польше и по всей Европе, сразу после 24 февраля 2022 года моментально встал, чтобы помочь беженцам на вокзалах, и среди них были те русскоговорящие люди, и интеллигенты, которые учили язык ещё при социализме, со смешанными чувствами. Казалось бы, знание русского языка на короткий срок ценилось и публично, но это вроде прошло, остался стыд.

Такую кашу отношения ко всему русскому как таковому просто нельзя разобрать и охватить, но ощущается на коже, как будто мы вернулись в советские времена. С тем отличием, что реакции в этом случае более жгучие и сиюминутные.

После 24 февраля многие СРЛ были парализованы, не могли работать в начале войны, это я могу твердо сказать – я провела опрос среди коллег из 12 стран. Меня лично от работы „спасло“ то, что я во все свободное время от университетской работы была на вокзалах добровольцем-переводчиком и писала дневник об этом.

² *War in Ukraine: a turning point for the relationship between Central Europe and Russia? CENTRAL Network conferency, Vienna. 2 June 2022.*

<https://www.central-network.eu/news-events/panel-discussion/> (16.12.2022)

The Future of Europe. Interview with Zsuzsa Hetényi. Universität Wien, Central Network project. <https://www.central-network.eu/news-events/interviews/interview-zsuzsa-hetenyi/> (16.12.2022).

Опыт этого опроса показывает, что в Венгрии значительно меньше коллег видят смысл в профессиональном бойкоте, чем в Европе, тем более в Америке. Бойкот, как они считают, мало кому будет мешать продолжать войну, я слышала заявление, что „Путин его не почувствует“, поэтому всем кажется, что проще продолжать работу так, как прежде, не говоря уж об обязательном обогащении показателей карьеры. Я тоже считаю, что культура и наука – это мосты.

Нельзя забывать, что большинство наших давнишних русских коллег (повсюду, но особенно в Украине и в России) страдают от военной ситуации еще острее, чем мы, и в нас к ним глубокое сочувствие. Я даже написала статью под названием *Нельзя отказать в солидарности антивоенной русской интеллигенции*. Правда, были уже неожиданные сюрпризы, среди российских коллег оказались и сторонники войны, даже доносчики, но не так легко узнать позиции всех коллег. И нельзя же всем эмигрировать, и не все считают возможным стать героем сопротивления. Это верно, но бойкот нужен.

По моим соображениям, бойкот нужен, во-первых, для выражения морального протеста, для отстаивания этических позиций. Во-вторых, нужен для того, чтобы в научной жизни ничего не продолжалось так, как прежде, чтобы заметными стали признаки перемены. В-третьих нужно, чтобы не повышать научные показатели России на международном „рынке“ и в научном конкурсе, надо ограничить Россию в международном научном сотрудничестве, закрыть грантовые фонды и исключить русские институты из научных обществ. Естественно, что если сузить доступ к финансированию науки, если разрушать международные научные коллективы, от этого пострадают и нерусские. Нужно отметить, что довоенная путинская Россия при всём приближении к диктатуре, щедро относилась к любой отрасли науки, в том числе к гуманитарным наукам, что далеко не характерно, например, для Венгрии. Но и этот факт появляется совсем в другом свете в дни войны – именно наука, а не литература видится сегодня как версия *soft power*³.

Несомненно, если ограничить научный импакт (коэффициент цитируемости) России, параллельно то же самое произойдет и с на-

³ Возьмем пример: Русским Фондом Фундаментальных Исследований были объявлены гранты сотрудничества ученых двух стран, в котором оплачивалась только русская сторона, их поездки в Венгрию, где я как организатор конференций в течение трех лет работала бесплатно. Сегодня мне кажется это симптомом научной эксплуатации, чтобы не сказать покрепче.

ми, западными странами и авторами. Нужно отметить, что для России всегда была характерна научная замкнутость, то есть „самоцитирование“ русских русскими – ссылок на западные, американские и на источники ученых других стран в публикациях русских филологов всегда было мало. Не знаю, в какой мере это составляет проблему для европейских СРЛ, но венгерский ученый должен жить тройной жизнью: писать по-венгерски для венгров, по-английски для научных показателей, и по-русски для того, чтобы его работы были известны носителям языка его тем. При этом, как мы знаем, публикация той же статьи на разных языках считается не только нежелательным и недостойным, но и исключается в требованиях серьезных научных журналов. Цитаты российские практически невозможно собрать из бесконечного числа маленьких изданий, в то же время мало из русских журналов входит в международный рэнкинг. К тому же, когда Россия почувствовала влияния научного бойкота, сама вышла из глобальной системы наукометрии.

Значит, мой личный вариант бойкота⁴ выглядит следующим образом: я не публикую свои тексты в России, хотя те, которые были сданы до войны, я не отзывала. Весной я участвовала на двух, ранее запланированных конференциях по зуму, сообщая на моих слайдах, что я – против войны, и что культура – мост для возрождения другой, новой России. Пожалуй, на этом мои конференции кончились. Выходит, что венгерский ученый СРЛ как таковой превратится в мистификацию, он не нужен дома, он остановлен в России, и мало кому интересен на Западе, который уже затоплен беженцами из Украины, да и из России. Им нужно создать академические посты, дать возможности работы и публикации. Пожалуй, все это поставит конец моей научной академической карьере.

РМ: В контексте всего сказанного Вами, можем ли мы сегодня как-то делить русских коллег на тех, кто против войны и тех, кто за вторже-

⁴ Хотелось бы отметить ещё личный фон моего бойкота, к которому я была подготовлена: мой покойный муж, Шимон Маркиш (1931 - 2003) эмигрировал из Советского Союза легально по браку с иностранкой в 1970 году, а потом нелегально дальше на Запад, кроме единственного визита в Москву с целью похоронить бабушку, никогда больше не возвращался туда. Хотя имел немало друзей и хороших знакомых, которые всегда приглашали, особенно после падения советского режима, до своей смерти в 2003 году не согласился даже на короткий визит. Опыт ссылки и убийства его отца Сталиным навеки лишили его доверия к стране. А я оставалась солидарна с ним. За 20 лет со времени его смерти я посетила Россию всего четыре раза.

ние в Украину? Тем более, что не все, кто против войны, могут уехать из России, да и судьба беженца или эмигранта – это сегодня одна неизвестность во всех смыслах: от дантовского „горького хлеба чужбины“ до безработицы, политических напряжений и кризисов с эмигрантами на Западе.

ЖХ: Есть такой взгляд, что „честная“ наука должна заниматься впредь именно русскими эмигрантами. Но это касается авторов прошлого только, или новых эмигрантов тоже, неясно. Одно точно: все не могут уехать.

Для меня большую задачу представляет собой переоценка многих авторов с точки зрения их концепции о России, и я пропустила всех своих авторов, которых когда-нибудь изучала, через своего рода экзамен – всех. Объекты моих исследований до сих пор оказались выше всякого сомнения от обвинений в колониальных или имперских идеях, ибо большинство их были жертвами таковых. Даже меня поразило, что почти все они родились на территории Украины или в разных республиках вне России, и потом немало из них стали эмигрантами.

Но мне приходилось вести курс литературы Серебряного века осенью 2022 года, и пришлось увидеть под новым ракурсом концепцию Востока и Запада таких авторов как А. Блок или М. Волошин, обдумать понятие греха и преступления в мистическом прочтении символистов и философов начала XX века, и всё это принесло глубокое разочарование и переоценку. В то же время я (раньше не исследующая литературу XIX века) написала статью, анализ отрывка текста из *Войны и мира*, где мне удалось рассмотреть проявление насилия в текстах Льва Толстого свежими глазами, с точки зрения изображения войны. И мне удалось показать глубочайшую амбивалентность автора по отношению к насилию, но никакое присутствие имперского взгляда я не ощущала, хотя именно в этом его упрекают. Вообще литературу обвинять в том, что является *soft power*, нелепость, её только могут использовать для пропаганды. Именно в этом я вижу ответственность филолога, что он может научными анализами ограничить эти возможности и предотвратить ложную интерпретацию.

Я принципиально не согласна со стремлением *Cancel culture*, но я считаю, что разрушение памятников, переименование улиц и изменение школьной программы в Украине – вполне понятная реакция, и это надо терпеть и выждать его время. Ведь русские не просто

убивают, как на войнах, а жесточайше и подло истребляют мирных людей и лишают их инфраструктуры. И, кстати, разворовывают музеи, уносят с собой культурную память страны. Я, живущая далеко от военных действий и территорий, тоже чувствую ярость от этого. Может быть, роль представителей третьих стран и наций именно в том, чтобы перенести ценности культуры в более мирные времена, которые должны всё же наступить, как история показала неоднократно. Увы, в эти дни мы убеждаемся и в иной неизбежности повторений – история показала тоже неоднократно обратное: что зверь и безумие вечно жив в человеке.

Жизнь моя как СРЛ сильно изменилась и в том, что я больше пишу публицистику, чтобы осветить культурологические истоки и аспекты этой войны. Я организую круглые столы и участвую в таковых, по-прежнему помогаю беженцам, хотя все меньше, и даю немало интервью. Только список этих работ и выступлений, которые в научных показателях кстати не считаются, как меня предупредили в университете, за эти 9 месяцев войны занимает пять страниц.

РМ: Нужна ли Венгрии в наше время славистика, ведь слависты сейчас начали общаться по-английски?

ЖХ: Я не знаю, как на это смотреть с чисто венгерской точки зрения. Изучать русскую литературу без знания языка можно только на школьном уровне. Язык – не только носитель культуры, но и объект изучения в таком качестве. Из венгерских СРЛ, из старшего и среднего поколения только считанные единицы владеют английским языком на нужном уровне. Это будет задачей следующего поколения, которое свободно владеет английским. Они считают английский средством обмена результатами исследования, и по праву: с одной стороны, это делает результаты доступными для специалистов, занимающихся другими славянскими языками, а с другой стороны, это даст прямой доступ к работе СРЛ таким людям, которые занимаются более широкими литературными исследованиями или теорией, или просто интересуются конкретным автором/произведением. Например, на одной конференции для юных славистов в Австрии в 2022 году рабочими языками являлись английский и немецкий, и там были люди из очень разных областей. Выступать на венгерском языке на венгерских конференциях по славянской тематике и на международном уровне на английском – один и тот же „рабочий язык“.

В то же время я помню конференцию о берлинской русско-еврейской культуре эмиграции в Берлине, где официальным языком конференции являлся английский. Лишь один из участников выступал на русском, замечательный петербургский профессор. В тот момент, когда он начал доклад, все высоко почитаемые американские специалисты из престижных университетов без исключения хватились за наушники, за переводом. И мне это казалось не только смешным, но и неграмотностью коллег.

Я веду „ателье“ (кружок) художественного перевода, русская часть которого деградирует каждый год, уровень знания русского языка и культуры падает. Да и нечем их поощрять, работы у них не будет, я сама как переводчик слышу от издательств, что сейчас не время издавать русскую литературу. Это конечно раньше или позже изменится, тем не менее нынешний контекст и рынок именно так выглядят. И вообще нужно поставить вопрос себе: честно ли поощрять молодых студентов, чтобы они посвятили жизнь изучению русской культуры? Столько еще на свете менее конфликтных занятий и областей...

Английский язык будет употребляться шире как раз в наши дни между славистами и СРЛ ещё по причине корректности, чтобы не обращаться к украинским и русским коллегам на языке агрессора. Я была свидетелем такого решения на зум семинаре, организованного в одном из университетов Прибалтики, и, признаться, жалела о таком решении, ведь мысли оставались неясно выраженными. Когда всем это стало ясно, украинский участник первый перешел на русский язык. Предположим, что мы специалисты испанской литературы, тогда мы говорили бы на общем испанском. В принципе язык общения – целевой язык нашей работы. Казалось бы, язык как язык, ни в чем не виноват, а всё же это не так просто. Немало свидетельств слышно от переводчиков, что сейчас стало им тошно от русского языка.

Известный филолог-классик Гасан Гусейнов (ныне в эмиграции) сделал лингвистическое наблюдение, что антивоенно настроенные русские интеллигенты начали ломать русский язык, нарочно употреблять ошибочные формы (например, вместо класть – ложить, вместо езжай – ехай). Раньше это мог быть шуточный жаргон, а сегодня – протест. В этом явлении ясно видно, что путинский режим и его война разрушает не только Украину, подрывает не только мировую экономику, но разрушает свою страну, русскую культуру и научную жизнь.

РМ: Да, с русистикой ситуация складывается не оптимистически. Я много думаю об этом, поскольку сам занимаюсь между другими литературами также и русской. Мне кажется, что российские коллеги ещё не до конца понимают, как война изменила отношение к русскому языку и литературе в Европе и сколько потеряет от этого даже та часть русской культуры, которая этически не замешана в войну во всех смыслах. Во многом это напоминает отношение к немецкому языку после 1945 года, с той лишь разницей, что немцы поколениями калялись. Хотя американизация и переход на английский язык в научном общении получились неизбежными. Сегодняшняя ситуация усугубляется еще и общим кризисом гуманитарных наук, и кризисом славистики в Европе. Я также думаю, что при всей симпатии к украинскому языку и культуре, сегодняшнее поколение славистов вряд ли способно перестроиться и отказаться от русского языка как одного из ведущих среди славистов. Да и часть украинской классики XIX века написана на русском языке (в том числе и тексты Тараса Шевченко, не говоря о других авторах, таких важных, например, для исторического самосознания украинцев, как Михайло Старицкий или Пантелеймон Кулиш). Если бы такого масштаба война России с Украиной была в первой половине XX века, то очевидно, что у украинского языка был бы шанс на то, что его примут в Европе как язык важного государства и будут изучать наряду с польским или чешским. Но сейчас в Европе из-за американизации поменялось отношение ко всем славянским языкам, общение проходит даже между славянами на английском, а война России против Украины только усугубила и радикализовала процесс.

Я хотел бы перейти теперь к другой теме, связанной с кризисом теории литературы как отдельного научного дискурса XX века. Как реагирует венгерское литературоведение на разные прогнозы о смерти теории литературы?

ЖХ: Мой личный ответ покажется пародийным, но отчасти это правда: литературоведение как раз выживает на том, что обсуждает, умирает ли оно. Если более подробно, то литературоведение начало умирать, когда потеряло контуры и смешалась с культурологией и семиотикой, а потом, что стало вообще пагубным, ушло от филологии в сторону психологии и, наконец, начало страдать под бременем безграничной философования.

Одно точно: славистика и изучение русской литературы не скоро придет в себя после войны. Что происходит в венгерском литературоведении, плохо видно славистам, ибо наблюдается немалая изоляция между научными областями в гуманитарии Венгрии. Это отражается и в структуре Венгерской Академии Наук – среди академиков еще никогда не было и нет и в настоящем времени ни одного члена СРЛ.

Я следую путям филологии в широком смысле, на этом пути язык и форма текста являются исходными, и все главные и придаточные отрасли науки („дисциплины“) используются как вторичные опорные концепции для когерентной интерпретации. На мой взгляд и для меня это то, что представляет собой интерес. Я написала в 2020 году о методике анализа прозы целую книгу.

Но, обдумывая этот вопрос, я посоветовалась с коллегой среднего поколения, специалистом по венгерской литературе и литературной теории. Мы остановились на том, что среди венгерских литературоведов можно выделить четыре основные группы. Первая группа либо не заметила прогнозов о смерти науки о литературе, либо им все равно. Вторая и довольно многочисленная группа ссылается на институциональные/социальные рамки, на то, что литературоведение потеряло свой престиж, находится в самом низу иерархии наук, его эффективность трудно измерить и так далее, и оно испытывает трудности в обосновании своей социальной полезности и своих исследований, достойных поддержки. Самым сильным ответом на эту проблематику в настоящее время является поворот к дигитальным/цифровым гуманитарным наукам, цифровой филологии и исследованиям, основанным на этих методологиях: цифровые издания текстов, большие корпусные исследования, стилометрия и тому подобные явления. Такие ответы лучше всего работают в качестве легитимации науки и, возможно, пользуются в наше время наибольшей внешней поддержкой. Существует еще (группа 3) поворот к культурологическим исследованиям, но он амбивалентен. Отчасти этот поворот виноват в смерти литературоведения (оно потеряло свой собственный предмет и методы, часто позволяя использовать старомодные методологии под ярлыком „культурных“). Все эти решения, наконец, заставляют некоторых из нас (это может быть группа 4) придерживаться принципа языковой основы литературы, настаивать и находить новые рамки для подхода к литературе как к „языковому искусству“.

Что касается русского литературоведения, то со времен Юрия Лотмана оно следует пункту 3, хотя ему ближе было бы 4-е, лингвистическое направление, идущее по стопам формалистов и постструктуралистов. Однако, нельзя забывать и о том, что в России при этом прочно держится описательный „традиционализм“, не имеющий особенностей или методов, и ограниченный на пересказе содержания, морализации об отношениях между персонажами интенциях автора и деталях его биографии.

РМ: Вы один из самых известных исследователей творчества Владимира Набокова – писателя неоднозначного во всех отношениях, в том числе и неоднозначного в своих оценках русской классики. Как Вы думаете, нужно ли сейчас, во время этой войны, читать Владимира Набокова? Какой его текст самый актуальный? – *Приглашение на казнь?*

ЖХ: Кого угодно и всех всегда надо читать. Есть книга еще важнее для наших дней в творчестве Владимира Набокова, чем *Приглашение на казнь*, и это – *Bend Sinister* (в неавторском переводе -- *Под знаком незаконнорождённых*). В этом романе показан террор, детальное и систематическое истребление невинных интеллигентов академической жизни чудовищными вычурными средствами и жуткой психологической жестокостью. Высмеянный в детстве пацан, вырастая, превращается в страшного и в то же время гротескно смехотворного диктатора – чем не наши новые диктаторы? Главного героя хотят сломать тем, что ему показывают пытку его сына на экране, и мальчик умирает на его глазах. Чем не Буча? И нет спасения в рамках сюжета романа, только вне романа, концовка горькая (а в художественном смысле уникальна).

Мне до боли актуальным кажется также и *Отчаяние*, которое (с очень явной ссылкой на Достоевского) освещает синдром искажения, тот процесс, когда Великая Теория-Идея, овладевающая личностью, использована для оправдания преступления, убийства.

РМ: Как выглядит Владимир Набоков в контексте „специальной военной интерпретации“, в контексте которой сейчас прочитывается вся русская классика?

ЖХ: Я думаю, что о военной интерпретации говорить как-то неточно. В 2015 году у меня вышла монография о Набокове на 928 страниц,

первая книга, в которой можно прочитать анализ всех его романов и его автобиографии в изложении одного автора под единым взглядом. И я могла бы приписать к каждой главе абзацы об этом вопросе, под измененным войной углом зрения.

Эмиграция, в которой Набоков провел всю свою взрослую жизнь, стала практикой сотен тысяч беженцев и новых эмигрантов в наши дни. Русский Берлин? Он снова существует. Бег из Крыма и миф Крыма – тоже примыкающая тема. Его спорадические на первый взгляд прикосновения к теме фашизма (и близость этого фашизма к советскому социализму в сталинской версии) не оставляют сомнения о его ненависти к новым империям. Однако, я не уверена, видел ли он в таких же критических нотах, как хотя бы его отец, царскую Россию, описанную как потерянный рай детства. Он действительно мало обращал сознательного внимания на социальные или политические процессы царского режима, но прекрасно описал его структуру косвенно, например, через портреты домашних учителей (в том числе одного украинца-фокусника), или прислуги в их доме. На Историю он имел свои иронические и глубоко персональные взгляды, он думал и брал выше, писал не о правилах, а об исключениях – и в природе, и в жизни людей. Меня как раз начала занимать эта тема, как он смотрел на империи – ведь он всегда жил в империях, за исключением Швейцарии. Самое интересное, что первый доклад на эту тему я прочла в 2018 году на конференции, а в сборнике конференции статья не была напечатана. Кажется, участники конференции (кстати, в большинстве представители бывших империй), не поняли, в чем же состоит мой вопрос.

Зоркость Набокова проявлялась в том, что в Америке, во время второй мировой войны он высказывался против Советского Союза, и его сторонились из-за этой „несвоевременной“ критики тогдашнего союзника США. Пожалуй, это было бы неплохо вспомнить сегодня, когда победу над фашисткой Германией путинская идеология присваивает только своей стране, забывая о спасательной роли западного фронта, и строит на этом снова те же сталинские старые мифы.

Для Набокова украинский народ существовал, в отличие от небольшого числа даже более поздних русских писателей (например, Солженицына), но он не идеализировал украинцев, что прослеживается в его монографии о Гоголе. Намекая на него, но не называя имени Гоголя, он пишет в *Даре*: „а вместе с тем, на прогулках в Швейцарии

так писавший колотил перебежавших по тропе ящериц, – „чертовскую нечисть“, – с брезгливостью хохла и злостью изувера“. Называние хохлом Гоголя в данный момент может создать неприятное впечатление политической некорректности, но *нельзя применять сегодняшнее наше знание к явлениям и текстам прошлого*. Здесь скорее мы имеем дело с переигрыванием, ссылкой на имя писателя, которое не названо. Тоже не стоит придавать особое значение и тому, что для вкуса Набокова как раз украинские рассказы Гоголя казались самыми неудачными (на этом он специально остановился и в интервью для *Paris Review*). Но не будем же мы хвалить его за то, что, с другой стороны, он ненавидел Достоевского, якобы виновника русского идейного вырождения мысли о грехе в глазах современных украинских писателей.

Военной же темы у Набокова нет. Набоков изображает и насилие фашизма косвенно: в грязном следе сапог в подъезде (*Камера обскура*), на фотографиях и в безумии мальчика (*Знаки и символы*), и в убитой любви Миры чудака-эмигранта, профессора Пнина. И даже в том не стоит его упрекнуть, что он обошел или отодвинул в свое бессознательное память об убитом в концентрационном лагере брате Сергее. Это лишь факт, который помогает нам его понять без идеализации и „идолозации“.

Исследователь должен стоять всегда выше своего объекта изучения. Мне глубоко чуждо стремление к умилению и обожанию писателя, которое в набоковедении не редкость. Нельзя следовать воле писателя, который был не прочь создавать особый имидж о себе. Меня интересуют тексты, и то, что в них отражено фактически, словесно. Строить идолы из фигур знаменитостей – первый опасный шаг к культуре, а открывать дорогу к культуре личности нельзя ни в чем.

ДАНУТА УЛИЦКА

Варшавский университет
(Варшава, Республика Польша)

ORCID 0000-0001-6638-6661
e-mail: d.ulicka@uw.edu.pl

**СТО ЛЕТ СОВРЕМЕННОГО ПОЛЬСКОГО
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ**

**ONE HUNDRED YEARS OF CONTEMPORARY POLISH
LITERATURE STUDIES**

Abstract

The interview focuses on the book *The Age of Theory. A Century of Polish Literary Studies (Wiek teorii. Sto lat nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego, 2022)*. Taking this publication as a starting point, the scholars discuss the questions related to the history of literary studies in Poland and other neighbouring countries (Russia and the Czech Republic), analyse the role of tradition in literary theory and poetics, interpret current tendencies in the humanities in general. Special accent is laid on the so-called Polish Theory and its historic development.

Keywords: theory of literature, the Polish Theory, modernity, Central and Eastern Europe, canon

„Sto lat mijalo...
I ci i owi pilnuja przepawy...”¹

Adam Mickiewicz, *Konrad Wallenrod*

Третий наш разговор касается польского литературоведения, и он связан напрямую с выходом очень важной в теоретическом и истори-

¹ В переводе Александра Пушкина: „Сто лет прошло... Всяк переправу охранял...”

ческом плане книги *Wiek teorii. Sto lat nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego* (Warszawa 2022). Эта книга вышла под научной редакцией профессор Дануты Улицкой – заведующей кафедры поэтики, теории литературы и методологии литературоведческих исследований Варшавского университета, известного исследователя и интерпретатора научного наследия Романа Ингардена, переводчика на польский язык книг и статей Сергея Аверинцева, Михаила Бахтина, Романа Якобсона, Владимира Проппа, Ольги Фрейденберг. Монография посвящена памяти двух выдающихся польских теоретиков литературы – Стефании Скварчиньской (1902-1988) и Хенрика Маркевича (1922-2013). Эту книгу можно назвать своеобразным интеллектуальным подвигом в сегодняшней, абсолютно не героической, для филологов ситуации. Продуманность эпиграфов и архитектуроники, соотнесенность заявленных одиннадцати тезисов во введении (*Principia*) с общей структурой и замыслом монографии, гармония фотографий и архивных материалов со строением научного дискурса, диалектика абстрактной теории и конкретной литературной практики – все это создает впечатление книги, которая пишется и издается не для одного поколения. Монографию сопровождают два обширнейших тома антологии оригинальных текстов самых видных польских литературоведов и интеллектуалов прошлого и нынешнего века.

Но предметом размышлений Дануты Улицкой в данном тексте будут не только отраженные в этой книге судьбы польского литературоведения, но и сегодняшний статус наук о литературе.

RM: Конечно же, каждый, кто берет в руки книгу *Wiek teorii. Sto lat nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego* задается вопросом о её названии: ведь в книге речь идет в большей мере о теоретических вопросах литературоведения, хотя она и построена очень изящно (мульти-медиаально), с привлечением множества фотографий и архивных документов. Что же было решающим в выборе заглавия?

DU: Есть несколько причин, по которым я как научный редактор издания остановилась на таком заглавии. Во-первых, я стремилась к тому, чтобы как-то освободить образ теории литературы от анти-теоретических аспектов, которых было бесчисленное множество, начиная с конца 1960-х годов во Франции, затем в других странах Западной Европы и в США. Один из самых известных примеров в этом отношении – сборник *Против теории* середины 1980-х годов. В Польше

эти тенденции восприняли с опозданием, но почему-то воспринимались они очень охотно и никто не задумывался над последствиями. Если же обобщить эти тенденции, то можно сказать, что практически все анти-теоретические движения были нацелены в сущности только на один вариант теории, называемый генеративной семиотикой, которая просуществовала очень недолго (пять-шесть лет), а стала удобным мальчиком для битья из-за своих абстрактных схем и непонятного словаря. Но при этом исчезла память о том, что литературоведение, зародившееся в первые два десятилетия XX века в нашем регионе (Центральная и Восточная Европа), не имеет к такой теории никакого отношения. Ведь оно имело дело не только с литературными текстами, и не только с лингвистическими текстами, хотя его основой была лингвистика. Основатели современного литературоведения в Центральной и Восточной Европе также писали о кино, плакате, цирке и вместе с тем сами занимались литературой. Поэтому отказ от понятия „теория литературы“ вполне может показать истинное лицо и невероятную амплитуду литературоведения, зародившегося в первые десятилетия XX века и преуспевающего до сегодня, хотя его иногда называют, например, культурной поэтикой или культурологической теорией литературы. Во-вторых, название *литературоведение* помогает преодолеть стереотипы о якобы разделении теории и истории литературы. Такие разделения должны в настоящих научных исследованиях прекратиться, потому что они не оправдываются исторической практикой. Кем, например, был Роман Якобсон? Историком мысли, теоретиком литературы, лингвистом или, может быть, антропологом? Аналогично и один из крупнейших польских учёных XX века – Михал Гловиньский, который был теоретиком литературы, историком, но и просто писателем. Я придерживаюсь мнения, что необходимо показать пересечение всех этих разных направлений интеллектуальной, исследовательской и общественно-политической деятельности, хотя бы изменив название .

RM: Что касается смерти теории литературы, провозглашаемой время от времени, то я думаю, что сама эта идея уже стала одной из современных теорий, когда разные литературные явления рассматриваются с перспективы смерти теории литературы, то есть смерть теории как одна из возможных теорий существует вместе с другими. Но проблема ведь в том, что современные теории все реже и реже занимают собственно художественной литературой и её текстами как

формой её существования и функционирования. И в этом смысле то пересечение разных направлений интеллектуальной и исследовательской деятельности, о котором Ты говоришь, обычно называют интеллектуальными практиками. Но разве при таком подходе не теряется специфика собственно литературы и её теории? Не растворяется ли она в этих разных практиках как щепотка соли в стакане воды?

DU: Но Ты ведь знаешь, что поэтологические и теоретические установки, а также сами термины, разработанные в обеих этих дисциплинах, до сих пор оказываются главными ориентирами, инструментами, позволяющими исследовать и называть разные явления, например, в области рекламы или других форм так называемого публичного высказывания/дискурса, да и, собственно, любое высказывание. Да и в новых жанрах (?), таких как блоги, можно увидеть постоянство и традиции старого. И в этом смысле оказывается невозможным изъять литературное мышление из культурологического, из интер- и трансмедиального, и даже из мышления о науке вообще. Вспомним, что *Метаистория* Хейдена Уайта (Hayden White) вырастает из *Поэтики* Аристотеля, из *Морфологии сказки* Владимира Проппа и его продолжателей так называемых структуралистов (Ролан Барт, Альгирдас Греймас, Джеральд Принс). И прежде всего, как я уже сказала, является совершенной иллюзией (или когнитивной доксой, увековеченной в учебниках) мысль о том, что так называемые формалисты и структуралисты были „спецификаторами“, ищущими автономии литературы или того, что принципиально отделяет литературу от других типов высказывания. Ведь не случайно же их интересовали в научном отношении и другие виды искусства, а сами они занимались литературным творчеством. Для них, как и для нас сегодня, литература — это просто самый сложный случай самого изощренного формирования словесного высказывания. И если мы сможем распознать и описать этот особо сложный случай, то тогда восприятие других, менее сложных, не будет составлять вообще никакого труда. Потому что они проще, потому что они бессознательно пользуются уже известными литературными „хитростями“ и, называя вещи своими именами, становятся прозрачными для исследователя. Аналогично и с так называемыми общественными высказываниями/дискурсами. Специалист по риторике сразу же, автоматически улавливает все хитрости и „приемы“, которые такая риторика использует для определенной цели. В этом плане достаточно вспомнить известную книгу

Виктора Клемперера о языке Третьего Рейха или исследования Михаила Гловиньского, посвященные анализу новых явлений в польском языке. Короче говоря, торжествуют поэтика и теория: ведь недаром Хейден Уайт оперирует понятием *поэтика истории*, а Ричард Браун в своей книге *A Poetics for Sociology* в категориях метафоры анализирует социологический дискурс. Без поэтики и теории невозможно сделать ни одного осмысленного шага в процессе понимания любого текста. И, наконец, что не менее важно, литературные, поэтологические и теоретические исследования значительно повышают нашу чувствительность к тому, что язык делает с нами вообще, или, скорее, к тому, что его „злые пользователи“ пытаются сделать с нами. И если мы это понимаем, то у нас появляется прививка к этим злым деяниям. В этом и заключается смысл преподавания обоих предметов – поэтики и теории (по крайней мере, для меня). Основной вопрос, который я задаю студентам: как произведение „заставляет“ вас смеяться, плакать, возмущаться, или почему оно может волновать вас?

And last but not least: все эти похоронные воззвания о „смерти теории“ и последующие объявления анти-теорий, пост-теорий, прототеорий не доказывают ничего другого, кроме наличия витальных сил в самой теории. И её постоянная модификация, создание новых концепций ничем не отличается от того, что происходило на протяжении всего XX века, в котором теория постоянно меняла свою кожу и, как блестяще выразились Джейн Эллиотт и Дерек Аттридж, всегда „выходила сухой из воды“.

RM: В связи с очень широкой проблематикой книги я хочу отдельно спросить о „культурной концепции идентичности“ по отношению к литературоведению („kulturowa koncepcja tożsamości”), которая заявлена в своеобразном стратегическом введении к книге – *Principia* (пункт четвертый). С одной стороны, можно подумать, что речь идет о так называемой польской теории, наравне с французской теорией или русской, о которой так много пишут в последнее время, и эта тема обозначена в книге в соответствующей главе (с.55-59). Но с другой стороны, на фоне всей книги видно, что под идентичностью понимается нечто большее. Можешь ли Ты объяснить подробнее эту проблему идентичности польского литературоведения.

DU: Я вижу три естественные разновидности (или диапазона) такой идентичности: местную (польскую), региональную (я предпочитаю

называть её словами Чеслава Милоша, „соседской“, то есть центрально- и восточноевропейской) и самую широкую, так называемую глобальную (лучше сказать – универсальную\общую). Они пересекаются, и они неразделимы. Самое главное для меня это то, что теория литературы родилась именно в нашем регионе Европы – у нас и наших соседей. В то время она (теория) была ещё явлением локальным: и тогдашние различия между русской, чехословацкой и польской теорией лучше всего понимаются через термины и понятия, особенно заимствованные из немецкого литературоведения, такие, как *erlebte Rede*, или, например, через три различные концептуализации так называемого поэтического языка, которые, само собою разумеется, развивались в каждом отдельном случае на совершенно ином литературном материале и поэтому неизбежно были разными. Таким образом, теория литературы тогда была явлением локальным, но в то же время соседским и глобальным – потому что другой теории литературы тогда просто не существовало. Именно из Центральной и Восточной Европы теория начала кочевать вместе с эмигрантами, беженцами и изгнанниками по миру, сначала в США, затем во Францию, чтобы окончательно распространиться по Западной Европе и снова вернуться в США. И в 1980-90-х годах теория литературы начала возвращаться к нам в этих, уже преобразованных вариантах. Понятно, что идентичность не дается раз и навсегда. И теория работала над ней целое столетие, как я уже сказала, постоянно меняла кожу, критически относилась к уже существующим подходам и самокритично к новым. Именно это гарантировало ей жизненную силу и возможность менять ту форму, которую она когда-то приобрела. Тоже самое происходит и сегодня.

RM: Обычно литературоведение выстраивается на текстах классики: так русская теория литературы выростала на романах Федора Достоевского (меньше Льва Толстого), на лирике Александра Пушкина, а в XX веке – на лирике русских модернистов. Какие поэты и писатели были архиважными для польского литературоведения и почему?

DU: Сложный вопрос. В самом общем виде могу сказать, что польская теория по всей видимости не была основана на каноне, тем более на каноне „польском“, то есть романтическом, который она просто отвергла, чувствуя себя после 1918 года свободной от патриотических обязательств. Молодые на то время исследователи – создатели поль-

ской теории ориентировались прежде всего на современную литературу, непосредственно их окружавшую: более умеренные – на поэзию скамандритов (представителей группы Skamander – RM), еще относительно консервативную, по крайней мере, в плане стихосложения, другие – на футуризирующий дадаизм (вроде Александра Вата или Адама Важика, которые не считаются „теоретиками“, но писателями, а в крайнем случае – „эссеистами“, но это уже другая проблема), а сразу после Второй мировой войны – на футуризирующий авангард. Если теоретики и обращались к истории литературы, то скорее к рациональному Просвещению (поэтому в годы так называемой марксистской теории литературы, когда Просвещение было нарасхват, они легко нашли друг друга). Такое отношение к Просвещению и после 1918 года, и после Второй мировой войны было связано с левыми общественными убеждениями и обязанностью „строить“ — и науку, и эмансипированное общественное сознание. Романтические идеалы сохранились, вероятно, только в этом „миссионерском“ взгляде на обязанности исследователя, а именно такой тип исследователя был характерный для польской интеллигенции не только в первой половине XX века, но также, а, может быть, даже особенно во второй половине XX века. Она также ненавидела „молодопольский дискурс“ и, пожалуй, только Роман Ингарден остался верен поэзии Молодой Польши.

RM: А как в польском литературоведении разделены (или не разделены) теория прозы и теория поэзии?

DU: В отличие от русского формализма у нас нет четкой демаркации. Некоторые важные концепции были разработаны как в поэзии, так и в прозе (например, проблема так называемой „кажущейся косвенной речи“ в посвященном ей исследовании К.Вуйцицкого). Впрочем и сама литература, как „Молодой Польши“, так и периода между двумя войнами (1918-1939), интенсивно размывала границы между поэзией и прозой как двумя формами высказывания. Об отсутствии этих границ наиболее ярко свидетельствует название монографии Влодзимежа Болецкого 1982 года: *Поэтическая модель прозы в межвоенный период: Виткаций, Гомбрович, Шульц (Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym: Witkacy, Gombrowicz, Schulz)*.

RM: Чего не сделало – а могло сделать – польское литературоведение XX века?

DU: Позволь мне не отвечать на этот вопрос. Пророчество вспять – это не моя специальность. Но в то же время я знаю, чего не сделали польские литературоведы в эмиграции. Они не распространяли и не пропагандировали „свою“ теорию так, как она того заслуживала, и так эффективно, как это делали (и продолжают делать) русские и чехи. Вот почему Polish Theory не появилась в мире, хотя её идеи во многом были пионерскими.

RM: Русское теоретическое литературоведение XX века во многом развивалось под влиянием идей Михаила Бахтина, которого можно назвать парадигматической фигурой для гуманитарных наук в России в этом смысле. Почему Роман Ингарден не стал настолько парадигматическим для польского литературоведения? Или я ошибаюсь?

DU: Ты и ошибаешься, и одновременно прав. Роман Ингарден в межвоенный период казался молодым литературоведам (так называемым формалистам и до-структуралистам) „анахроничным“, хотя, с другой стороны, они видели в нем союзника и приглашали к участию в своих начинаниях, хотели даже включить одну из его публикаций в свою серию „Проблемы поэтики“ („Z zagadanień poetyki“). Сотрудничества однако не получилось. После войны положение Р.Ингардена в академическом мире было очень тяжелым. Поначалу, как и другие львовяне, он неохотно был принят в Ягеллонский университет, и даже подумывал о переводе во Вроцлавский университет и о возрождении там львовской философской школы Казимежа Твардовского. Затем, в 1950-е годы, он стал мишенью янычар из марксистской школы Адама Шаффа (Adam Schaff), потом попал под наблюдение службы безопасности и, наконец, был уволен из Ягеллонского университета. В 1960-х годах структуралисты из Варшавского Института литературоведческих исследований (IBL) и Познанского университета попытались „воскресить“ и актуализировать его достижения. Именно тогда началась большая дискуссия на тему художественного мира литературного произведения и квази-суждений, и концепция конкретизации Романа Ингардена была использована для построения основ коммуникативного варианта польского структурализма. Вспомним наконец, что многие литературоведы утверждали близость феноменологических идей к семиотике. Но структуралистам в работах Романа Ингардена многое препятствовало: он не базировал своих рассуждений на понятии системы, да и его онтология была неприемлема

для структурализма. В целом трудно сказать, что он был в Польше того времени фигурой маргинальной, но он так и не оказалась в центре. *Nota bene*: отношения между феноменологией и структурализмом до сих пор представляют достаточно сложную тему, хотя прошло уже полвека со времени книги Эльмара Холенштейна *Феноменологический структурализм Романа Якобсона* (Elmar Hostenstein *Roman Jakobsons phänomenologischer Strukturalismus*, 1975).

RM: Возвращаясь теперь к коллективной монографии *Wiek teorii. Sto lat nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego*, хочу задать личный вопрос: почему в этой книге не упоминается статья Стефании Скварчиньской *Przedmiot, metoda i zadania teorii literatury* („Pamiętnik Literacki” 1938)? Я спрашиваю, потому что я читаю этот текст со студентами на первых занятиях по теории литературы и думаю, что это очень важный текст.

DU: Просто этот текст много раз перепечатывался в различных антологиях, а мы исходили из принципа представлять малоизвестные тексты, циркулирующие не так часто в литературоведческом контексте. Замечу, что мне тоже очень нравится эта статья, такая сильно „ингарденовская“. Кстати именно этот аспект также способствовал тому, что текст не вошел в антологию. Ведь второе правило, принятое нашей группой: мы перепечатывали только „оригинальные“ тексты (если вообще какой-либо текст сегодня можно считать полностью оригинальным, то есть авторским). И с этой точки зрения концепция Стефании Скварчиньской о „вторичных речевых жанрах“ (предшествующая идеям М.Бахтина), равно как и её концепция жанра как *жанрового сознания* (так близкая к пониманию проблемы в настоящее время: жанр как „герменевтическое поле“ или жанр как прототип) казались более важными.

RM: Продолжая теперь вопросы о польском литературоведении, хочу спросить, как бы Ты определила проблему зависимости и влияний на польское литературоведение XX века? Если учесть, что влияние англосаксонских мыслителей пришло довольно поздно (только под конец XX века), то как можно оценить влияние французской, немецкой и русской теоретической мысли?

DU: На этот вопрос очень сложно ответить, он вообще заслуживает отдельного исследования. Вкратце скажу лишь, что влияние европей-

ского литературоведения было поэтапным и, вероятно, было тесно связано со знанием некоторых иностранных языков, которые фактически были доминирующими в гуманитарных науках того времени. В начале XX века, более или менее до конца 20-х годов, сильнейшие источники влияния исходили от немецкой философской эстетики (Вильгельм Дильтей, затем Эдмунд Гуссерль и, наконец, Карл Фосслер и Лео Шпитцер), а также французской (Анри Бергсон, школа Шарля Балли). Но уже в 30-е годы преобладало влияние русскоязычных публикаций. После войны эти влияния не теряют своего значения, меняются лишь предпочитаемые методологические установки. На смену упомянутым немецким исследователям пришли идеи герменевтики – школа Яюсса-Изера, а русских так называемых формалистов заменила тартуско-московская семиотика. В 60-х-80-х годах в польском литературоведении мы имели дело со второй волной французского влияния, сначала французского генеративизма (нарратологии), затем постструктурализма. Но действительно, Ты прав, в первой половине XX века влияние англоязычной теоретической мысли было относительно слабым, за исключением разве что семиотики, но это была в основном логическая семиотика. Так кратко выглядит ответ, если учитывать только доминанты, потому что на самом деле представить весь объем этих влияний и их уравновесить весьма сложно. В любом случае польское литературоведение до конца 80-х годов прошлого века было подлинно полифоническим, многоязычным. В то время как нынешнюю ситуацию можно охарактеризовать как „монологическую“. И, насколько я знаю, не только в Польше. На эту „монологсию“ (которую Паскаль Казанова в *La République mondiale des Lettres* назвал „американским меридианом английского языка“) также жалуются ученые из других стран, например, из Германии.

RM: Несколько слов о польском формализме на фоне чешского и русского.

DU: Сложный вопрос. Само название „польский формализм“ неуместно, хотя и закрепилось в науке (аналогично русскому формализму – ведь это прозвище, употребляемое оппонентами, а не имя,). Как Ты знаешь, Борис Эйхенбаум писал о так называемом формальном методе, сознательно предваряя понятие „метод“ оговоркой „так называемый“, а сами формалисты предпочитали называть себя морфологами. Так называемые польские формалисты появились в середине

30-х годов, когда русских формалистов – как группы – уже не существовало, и даже его отдельные отцы-основатели должны были перестать писать „в духе“ школы. Конечно, поляки знали публикации русских, они имели их в своих библиотеках (Варшавского кружка полонистов и Виленского кружка), в сотрудничестве с Якобсоном (он уже в то время был в Праге) подготовили первую в мире всеобъемлющую антологию школы (готовый тираж сожгли в сентябре 1939 года, и от него почти ничего не сохранилось). Однако методологической зависимости польского формализма от русского или чешского скорее всего не было, не считая общего убеждения в том, что литературоведение должно тесно сотрудничать с лингвистикой, а искусство слова – это искусство использования языка прежде всего. Так называемый польский формализм был очевидно „сразу“ пред-структурализмом, и в его основе – в отличие от русского – лежала концепция Фердинанда де Соссюра. Помню из сохранившихся протоколов заседаний Московского лингвистического кружка скептические высказывания Романа Якобсона о *Курсе всеобщей лингвистики*: Якобсон подчеркивал, что больше узнал и научился от Филиппа Фортунатова.

Другое дело Пражский лингвистический кружок. Здесь сотрудничество было интенсивным, и именно с середины 30-х годов польские ученые публиковались в журнале „Slovo a slovestnost“, здесь же рецензировались их публикации. Потом, после войны, сотрудничество развивалось очень хорошо (в основном благодаря Марии Ренате Майеновой): мы переводили „братьев чехов“, они в свою очередь участвовали в польских конференциях. Польша была тогда, как обычно говорили, „самой веселой казармой во всем социалистическом лагере“. Не только чехи, но и болгары, которые приезжали к нам, имели возможность познакомиться с новейшими европейскими книгами (библиотеку Института литературных исследований Польской Академии наук – IBL PAN – Михал Гловиньский назвал самой лучшей на всем пространстве от реки Одер до Владивостока). Эти контакты наиболее интенсивно развивались в работающем в Институте литературных исследований, коллективе, работающем над проблемами славянского сравнительного стиховедения (Słowiańska Metryka Rogównawsza). Сегодня такого обмена интеллектуальными продуктами почти не существует. По понятным причинам – у меня почти нет связи с Россией (много моих друзей эмигрировало). Правда, иногда я встречаюсь на конференциях с филологами из Праги и Брна.

RM: Как Ты сказала, польское литературоведение XX века развивалось в непосредственной близости и контактах с русским и чешским литературоведением. Можно ли определить общие и отличительные черты литературоведения в каждой отдельной стране?

DU: Основой этого треугольника (Россия – Чехословакия XX века – Польша) был немецкий язык в интеллектуальном и содержательном смысле. Русские, как и поляки, учились в немецких университетах, причем лучших – в Берлине, Геттингене, Марбурге. Для чехов это было не обязательно, потому что в Праге у них был немецкий университет. Но важно отметить, что именно в Германии раньше нежели в других странах обнаружился кризис в модели позитивистского мышления об искусстве, литературе и языке, то есть так называемый антипозитивистский прорыв. Эти тенденции действовали на воображение сначала русских, а затем польских и чехословацких ученых. Какие факторы определили русско-чешско-словацко-польскую общность? Во-первых, на всех вершинах этого треугольника очень сильным вектором был авангард в искусстве, особенно в живописи. Личная дружба литературоведов с художниками – шире говоря, с художниками и типографами – оказала огромное влияние на образ мыслей о литературе и языке во всем регионе. Несомненно, этому сопутствовало пристрастие молодых учёных к революционным веяниям. Когда Казимир Малевич и Роман Якобсон планировали „вторжение“ в Париж в 1912 году (Малевич должен был представить свои картины, а Якобсон – написать предисловие к каталогу выставки), – они оба имели в виду одно: мы покажем Парижу, что такое настоящий футуристически-конструктивистский авангард, ибо на Западе царит постимпрессионизм и буржуазная безвкусица! К сожалению, план не осуществился. Но когда Маринетти приехал в Россию, посетил Москву и Петербург, его высмеивали за желание просвещать русских, так как они (русские) уже давно освоили и усвоили футуризм. Во-вторых, центрально- и восточноевропейское литературоведение возникало в исключительной исторической и политической ситуации. Рухнули три великие империи; разразившаяся Первая мировая война положила начало процессу восстановления независимых государств (я имею в виду не Россию, но Польшу и Чехословакию). Тогда же чехи начали писать свою литературную историю, поляки перестроили свою и сосредоточились, как я уже говорила, больше на Просвещении, а не на романтизме. Именно поэтому в польском литературове-

дении после войны Просвещение стало основной традицией, помимо позитивизма, на который ссылались литературоведы-марксисты. И в-третьих, в первой четверти XX века практически все литературоведы активно участвовали не только в общественно-политической жизни страны, но и в демократизации науки и искусства (чем, кстати, в полной мере воспользовалась и Польская Народная Республика).

RM: В связи с сегодняшними дискуссиями о вине русской классики (Иван Бунин, как известно, назвал ее „великим дурманом“) можно ли говорить о вине русской теории в том, что происходило в XX веке в России и что происходит сейчас? Речь не идет о дискутируемом сотрудничестве Романа Якобсона или Виктора Шкловского с советскими органами госбезопасности, но о том, как теория влияет на сознание масс.

DU: Я все-таки за принципиальное „необременение“ этической „виной“ того прошлого, в котором были и очень молодой, затерявшийся в большой Истории и в советской послереволюционной политике, Роман Якобсон, и шантажированный левый эсер Виктор Шкловский, вынужденно вернувшийся из берлинской эмиграции и своеобразно замолчавший. Ведь это совершенно другая ситуация. Во всяком случае, я смотрю весьма сомнительно на всевозможные автобиографические сочинения Якобсона и Шкловского, равно как и на „свидетельства“ фактов, изложенных в разоблачительных статьях Марины Сорокиной типа „Эмигрант № 1017“. Если бы такие статьи писал западный исследователь, я бы не удивлялась. Но российскому исследователю должно быть хорошо известно, что архивы КГБ хранили то, что хотели, и выдают исследователям то, что хотят. Мы также хорошо знаем „документы“ нашего, польского Института национальной памяти, которые являются фальшивками, написанными агентами по заказу. Если я могла бы и упрекнуть теорию в чем-либо, так это в её бессилии – несмотря на прилагаемые усилия – перед лицом мира политики (политиков), в своеобразной умственной ошибке, а также в недальновидности. Модернистская утопия преобразования и изменения сознания как условия и основы переустройства социального мира оказалась очень восприимчивой к перехвату, очень соответствовала гнетущей власти, создававшей „нового человека“. Аналогично и другие идеи, такие, например, как футуристическая анти-орфография, которая, будучи связана с идеалами демократизации письма,

увековечила однако безграмотность, имела эффект по сути антикультурный. Но винить в этом следует всю гуманитарную науку прошлого века, а также и искусство XX века.

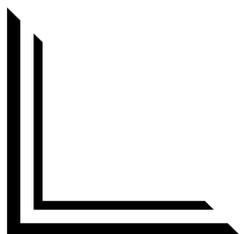
И еще один момент: является ли выходом из сложившейся ситуации сегодняшняя открытая и твердая приверженность теории решению „насуточных проблем“ нашего мира? Не в этом ли кроется суть „смерти теории“? Ее уклонение от познавательных обязанностей в пользу всевозможного „вмешательства“? Ведь в результате такого вмешательства появляется все больше работ, трактующих литературу чисто иллюстративно, использующих ее и злоупотребляющих ею в поисках своих аргументов. Литературоведческие исследования становятся все более „тематологическими“, и все менее мы обнаруживаем в этих исследованиях мысль о том, что смысл высказывания зависит от того, как оно оформлено. Одним словом – базовые филологические навыки сегодня не востребованы. Именно эти проблемы мы и будем обсуждать в июле на Всемирном конгрессе полонистов, тема/девиз которого: „Филология – в/новь“ („Filologia – od/nowa”).

RM: Наш разговор я хотел бы закончить еще одним вопросом: можно ли считать, что книга *Wiek teorii. Sto lat nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego* является ответом на вопрос о том, „как сделано“ польское литературоведение?

DU: Мне очень нравится это слово „делание“, отсылающее к приличному ремеслу и известное не только из литературоведческих публикаций Эйхенбаума и Шкловского, но также из наследия художника Павла Филонова, который меня давно очаровал. Если даже *Wiek teorii* отвечает на этот вопрос, то только в границах узкого времени польского литературоведения, которому, конечно, более ста лет, ведь оно началось по меньшей мере в конце XVIII-го века, если мы смотрим на литературоведение исключительно в рамках академической дисциплины.



ТЕОРИЯ



МАРИНА САВЕЛЬЕВА

Центр гуманитарного образования Национальной академии наук
Украины
(Киев, Украина)

ORCID 0000-0001-9522-0644

e-mail: mars6464@gmail.com

МАНИЯ РИЧАРДА III

(Уроки Томаса Мора и Уильяма Шекспира)

THE MANIA OF RICHARD III

(The Lessons from Thomas More and William Shakespeare)

Abstract:

The article deals with an analysis of the positions of Thomas More and William Shakespeare in relation to the usurpation of supreme power taking the personality of Richard III as an example. It is shown that the distortion of the personal characteristics of the king can be considered not only as a deliberate falsification of historical events, but also as a „moral“ for those who set themselves the purpose of achieving power by any means. The main signs of Richard's behavior that characterize him as a maniac are: unrestrained hate of all rivals and supporters; the desire to exterminate all who interfere with him; permanent incitement of internecine strife; physical destruction of all members of the rival dynasties. According to both thinkers, the phenomenon of Richard III was formed on the basis of the unity of three factors: imperfect physicality, the evil spirit of Richard Gloucester and contradictions in English politics. His mania became a way to compensate for the lack of physical and spiritual merits, and the unstable politics in the country was the catalyst for his ideas. Thomas More and Shakespeare show convincingly that the success of manic behavior is never conclusive. An individual who is possessed by mania never achieves the goal set, because mania is a manifestation of insanity.

Keywords: power, mania, Renaissance, monarchy, personality, individual, crisis, contradiction, will, reason

Амбивалентный характер трансформации ренессансных представлений о верховной власти

Предметом данных размышлений является историческая ситуация, преломлённая сквозь призму художественного вымысла: реальный исторический деятель, ставший персонажем сначала идеологических памфлетов, а после – сценического произведения. При этом вопрос о том, почему именно фигура Ричарда III до сегодняшнего дня пребывает в истории в столь мрачном гротескном облике, целесообразно оставить за скобками¹. Гораздо интереснее та мировоззренческая проблема, с которой на исходе эпохи Ренессанса столкнулись мыслители разных стран, и одним из следствий решения которой стало создание кровавого образа последнего Плантагенета. Фактически, это проблема трансформации представлений о сущности верховной власти и поведения её субъектов. Именно процессы по изменению властной парадигмы стали причиной тому, что тюдоровский миф сегодня воспринимается не просто как один из способов дискредитации соперничавшей династии, а как проявление *объективной необходимости* осмысления происходивших мировоззренческих перемен.

Прежде чем средневековая идея верховной светской власти как сакрального феномена полностью сменилась рационалистической идеей Нового времени с доктриной общественного договора в основании, в истории Европы существовал недолгий период во второй половине XV – начале XVI-го веков, когда происходило интенсивное взаимное влияние кризисных явлений общественного мировоззрения и верховной власти. Начало формирования абсолютистских принципов возвышения монархии, конец дворянских вольностей, обострение междоусобиц и образование национальных государств сопровождалось переменами представлений о власти, характере её функционирования и отношении к ней в общественном сознании. Будучи выражениями кризисных факторов, эти политические новшества не отличались последовательностью, смысловой устойчивостью и зачастую были весьма радикальны. Все они так или иначе

¹ Подробно об особенностях преобразования реальных событий в художественно-субъективные в трактате Т. Мора см.: Е. Д. Браун: *Войны Роз в „Истории Ричарда III“ Томаса Мора*, „Вестник РГГУ“ Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. Москва 2018, № 10, с.54-65; Е. Д. Браун: *Войны Роз: История. Мифология. Историография*. Москва, Санкт-Петербург 2016, с.135-150.

основываясь на упрощённом понимании пантеистического принципа сущностного равенства человека Богу: *Глас индивида – глас Божий*. В силу своей непосредственности они так и остались в своём времени, не дав исторического и логического продолжения, и в будущем вытиснились доктриной общественного договора, основанной на принципе естественного равенства людей перед Богом: *Глас народа – глас Божий*. Однако навсегда сохранились в общественной мысли и искусстве.

В 1513 году было создано два знаменательных произведения, с противоположных позиций отражающих прямую взаимосвязь идей пантеизма и антропоцентризма как основания изменений характера верховной власти. Трактат Никколо Макиавелли *Il Principe* содержал в себе, так сказать, технологическое руководство по завоеванию, удержанию и упрочению верховной светской власти кем угодно, кто в состоянии это осуществить – без всякого соотнесения характера этой власти с сопровождающими обстоятельствами и сущностью божественного всемогущества. В трактате Томаса Мора *История короля Ричарда III* картина индивидуального захвата и удержания власти была представлена с учётом проецирования на конкретную историческую персону, и вместо положительных рекомендаций содержала беспощадное осуждение этого пока что не ставшего нормой политического опыта. В то же время, трактат Мора был написан на основании тех же идей пантеизма: власть рассматривалась им как проявление *природной* стороны сущности человека, когда все силы и способности применяются им целенаправленно и естественно, то есть независимо от Божьих заповедей².

Таким образом, в одно и то же время в разных социокультурных пространствах безотносительно друг к другу происходило ради-

² Примечательно, что оба произведения вышли в свет лишь спустя много лет после написания: труд Макиавелли в 1532 году, а трактат Мора в 1543-м, и анонимно, в составе других современных хроник (См.: И. Н. Осинский: *Томас Мор: утопический коммунизм, гуманизм, реформация*. Москва 1978, с.94). Даже после смерти их авторов сочинения ещё долгое время представлялись взрывоопасными, и их медлили обнародовать. Поэтому вряд ли Т. Мор, казнённый в 1535 году, мог быть знаком с произведением Макиавелли – вплоть до конца XVI века само имя последнего воспринималось в Англии с предубеждением, а сочинения были запрещены и если и ходили по рукам, то исключительно конфиденциально и в тайных переводах. Первая официальная печатная английская версия *Государя* появилась только в 1640 году (См.: А. М. Ismail: *Shakespeare's Machiavellianism from Richard III to Richard III*, „Journal of Raparin University“, Vol. 4, No. 13 (December 2017), p.38).

кальное переосмысление проблемы основания и бытия верховной власти, движимое общей идеей: в процессе обретения власти индивиду отныне недостаточно было руководствоваться соображениями её сакральной природы и самому выступать лишь средством воплощения высшей воли. Отчасти возвращаясь к принципам античного мировоззрения, он не переставал быть христианином, но также занимствовал античную форму отношения к религии: не должно Всевышнему делать за человека то, что ему предназначено сделать самому – человек и Господь следуют каждый своим путём, и лишь судьба время от времени соединяет их. Поэтому в любых обстоятельствах правитель мог и должен был быть активным субъектом-завоевателем и полагаться только на себя. Однако Макиавелли трактовал верховную власть как сугубо политическое явление, не имеющее никакого отношения к пониманию божественной принадлежности человека. Т. Мор, напротив, пытался не только осмыслить мировоззренческие перемены в политике, но и понять характер процессов рационализации религии под влиянием стремительно меняющейся политики, и определить меру этической обоснованности этих перемен.

Таким образом, произведение Т. Мора представляет специальный интерес не как историческое, а по преимуществу как психологическое и этико-философское исследование. Мыслителя интересовал опыт сознания индивида, поставившего власть абсолютной целью для себя, забывшего обо всём и прежде всего – о собственном долге перед Богом, что привело к пренебрежению Его волей. Наиболее подходящим примером ему представился Ричард III, которого уже успели изрядно вывалить в грязи старшие современники Мора³. Являлось ли сочинение выражением скрытого протеста против современных ему политических событий и выполняло ли функцию личного „поучения” или государственного заказа, сложно сказать⁴.

³ См., например, книгу: Андре Бернар: *История жизни и достижений Генриха VII*. Перевод с латыни и вступительная статья Д. В. Кирюхина. Москва, Санкт-Петербург 2017.

⁴ Во всяком случае, „мы не должны принимать на веру всё то, о чём разные люди, как часто выражается Мор, говорят как о действительно случившемся. Но то, что люди во времена Мора действительно говорили об этом как о случившемся, – это для нас вполне достоверно“ (И. Н. Осинский, *op. cit.*, с.99). С этим сложно не согласиться: существовавшие к этому времени хроники Бернара Андре, Доменико Манчини, Роберта Фабиана, Полидора Вергилия, мемуаров Филиппа де Коммина и др. сыграли свою роль в том, что в обще-

Даже если Томас Мор намеренно не использовал платоновскую аллегория благой души как единящего сдерживания бешено несущихся коней, колесницы и возничего⁵, он всё равно мыслил и рассуждал в нормах платонизма, как большинство его современников гуманистов. В особенности тогда, когда анализировал индивидуальные характеристики правителя, позволяющие доводить верховную власть до совершенства или же до катастрофы. Так, размышляя над тем, сколь непрочным было положение английских монархов во второй половине недавно минувшего века, мыслитель пытался решить задачу, как монарху сохранять баланс *разума* для обоснования объективности собственных действий, *воли* как движущего фактора личной активности и *веры* как критерия истинности понимания предела собственных возможностей. Лишь разум способен обосновывать волевые действия, которые с точки зрения традиционного (религиозного) мышления могут выглядеть кощунственно. Лишь вера позволяет направлять волю в нужном направлении, чтобы разум в критической ситуации не усомнился в правильности происходящего. Лишь воля побуждает разум действовать там, где вера не находит оснований его поддерживать. И если одна из сторон этого триединства подводит, то увлекает за собой в пропасть остальные, и никакие традиции, никакой авторитет, законность наследования или благородство происхождения, и даже церемония богопомазания и поддержка народа не в состоянии удержать власть от падения. Как только субъект теряет способность трезво согласовывать мысли, чувства и веру, становится обуреваем страстью и начинает упиваться своим верховенствующим состоянием – он проиграл, ещё не зная об этом. Истинная власть амбивалентна, постоянно озабоченная поисками единства и баланса веры, отваги, хладнокровия и рассудочности, на чём и настаивал Мор. Какими бы благочестивыми, обоснованными и эф-

ственном мнении довольно быстро распространялись нужные для правящей династии взгляды без прямого участия её представителей.

⁵ „Пусть уподобится идея души соединённой силе, состоящей из крылатой колесницы и возничего. У богов все кони и возничие сами по себе благородны и происходят от благородных; у остальных существ – смешанного характера. Прежде всего, управитель наш управляет парой коней; затем, из коней его один – прекрасен и благороден и происходит от таковых же; в другой – противоположен этому и происходит от противоположных. Отсюда и управлять нами, неизбежно, тяжело и трудно“ (Платон: *Федр*, 246в, в: Платон: *Полное собрание творений Платона в 15 томах*. Новый перевод под редакцией С. А. Жебелева, Л. П. Карсавина, Э. Л. Радлова, том пятый. Петербург 1922, с.123).

фективными ни были способы и цели достижения власти, её можно удержать и укрепить, если будут соблюдены два условия: 1) власть должна быть обретена легитимным путём; в противном случае она будет тиранией, и все её положительные результаты и героические достижения правителя будут лишь проявлениями случая; 2) индивид не должен переставать соотносить свои действия и намерения с окружающими его событиями и помнить, что он не всемогущ, и ему не всё дозволено и предписано, именно потому, что он монарх. Только так он не впадёт в языческое безумство безнаказанности – не станет рабом или жертвой *мани*.

Мифологические основания мании как способа достижения верховной власти

Древнее понятие *Mania* (Μανία Μανία) сперва означало имя безличных духов (даймонов) безумия, а позже стало именем богини, то есть обрело достаточно устойчивое, вполне рациональное, хоть и персонифицированное содержание. Состояние безумия в представлении древних греков означало отсутствие понимания происходящего, ущербность рассудка, но не отсутствие способности мыслить в целом. Согласно Платону, маниакальное неистовство бывает двух видов:

...Одно – следствие человеческих заболеваний, другое же – божественного отклонения от того, что обычно принято. [...] Божественное неистовство, исходящее от четырёх богов, мы разделили на четыре части: вдохновенное прорицание мы возвели к Аполлону, посвящение в таинства – к Дионису, творческое неистовство – к Музам, четвертую же часть к Афродите и Эроту – и утверждали, что любовное неистовство всех лучше⁶

⁶ Платон: *Федр*, 265а-в. Перевод А. Н. Егунова, в: Платон: *Собрание сочинений в 4 томах*, Том второй. Общая редакция ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи; Примеч. А. Ф. Лосева и А. А. Тахо-Годи; Перевод с древнегреческого. Москва 1993, с.175. Любопытно, что в переводе С. А. Жебелёва дан несколько иной акцент значения: „...Вследствие божественного отклонения от обычного нормального *состояния*“ (Платон: *Полное собрание творений Платона в 15 томах*. Новый перевод под редакцией С. А. Жебелева, Л. П. Карсавина, Э. Л. Радлова, том пятый. Петербург 1922, с.148). (Выделено мной – М. С.) Тем самым, создаётся впечатление, что уже в то время маниакальность могла рассматриваться и как чисто индивидуальное психическое явление. Вполне возможно, но смысл оригинала иной: *μανίας δὲ γὰρ εἶδη δύο, τὴν μὲν ὑπὸ νοσημάτων ἀνθρώπινων, τὴν δὲ ὑπὸ θείας ἐξαλλαγῆς τῶν εἰωθότων νοσημάτων* – отражено нарушение того, что обусловлено законами и обычаями. Впрочем, не следует забывать, что ещё в эпоху Высокой классики миро-

Таким образом, мания в представлении греков проявлялась как индивидуальное (кажущееся безосновательным и само-вольным) нарушение оснований общественного бытия – традиций, устоев и обычаев – всего того, что делало человека человеком, позволяло существовать социальному пространству. Причиной этому не могла быть только неконтролируемая личная воля, это ещё и желание пойти наперекор судьбе вследствие слабости знания о намерениях богов и проведения. Это означает, что маниакальное безумие расценивалось греками со- всем не как клиническое состояние; скорее, они понимали это как следствие того, что негативная форма восприятия мира как принцип разоформления его упорядоченности, ввергания его в хаос берут верх над разумом и мудростью как положительной формой отношения к миру как космосу. И потому мания, беря исток в недальновидности и недостаточной мудрости индивидов и зависимости их от богов и природы, угрожала обществу в целом. Впрочем, в другом месте Платон указывал, что в действительности бояться следовало не столько преступить меру в своём отношении к миру, сколько сделать это „пре-ступление” нормой жизни. Если кому-то из людей и удавалось вдруг испытать это непростое состояние, к этому следовало относиться с величайшим почтением, осторожностью и благоговением, потому что оно,

откуда-то проявившееся и дар пророчества им сообщившее, в потреб- ных случаях, оказало, приносило избавление от величайших болез- ней и напастей – последствий древнего гнева [божьего]. Прибегая к молитвам пред богами и к служению им и получая чрез это очище- ние [от грехов] и посвящение [в таинства], человек, находящийся под действием неистовства, если оно было правильное и правильно овла- девало им, избегал опасностей и в настоящем и на будущее время и обретал разрешение от обуревающих его зол⁷.

воззрение греков основывалось на принципе непосредственного единства индивидуального и общественного, когда Ψῦχή одновременно воспринималась как индивидуальная и мировая душа, дыхание и состояние жизни. В этом смысле, нарушение любого проявления состояния Ψῦχή неминуемо влекло за собой нарушение иных её состояний и проявлений.

⁷ Платон: *Пир*, 244d-e. Перевод с древнегреческого С. А. Жебелёва, в: Платон: *Полное собрание творений Платона в 15 томах*. Новый перевод под редакцией С. А. Жебелева, Л. П. Карсавина, Э. Л. Радлова, том пятый. Петербург 1922, с.121.

Потому Платон настаивал, что следует различать отдельные проявления маниакального неистовства⁸. *Мера* как основание упорядоченности мира человека, по убеждению греков, коренилась в самой консервативной области социальной жизни – в первичной общественной „ячейке“, *семье*. Лишь по отношению к ней человек может совершить непоправимое, пойти против бытия, проявив индивидуальную, безотносительную ко всему, волю. Все иные социальные отношения, построенные по принципу взаимного отчуждения, фактически неуязвимы для судьбы, поскольку неисчерпаемы, бесконечны, многозначны, целиком и полностью в подчинении у человека, выражая его „политическую суть“. Но „вопросы крови“ как антропологическая экстраполяция проблемы первоначала поставлены не человеком. Это удел богов и судьбы. Поэтому всё табуированное мерой касается, в конечном счёте, „вопросов крови“. Мания настигает совершивших матере/отцеубийство или инцест. И этим проступкам нет не только оправдания, но даже простого объяснения, потому совершившего их охватывает безумие как осознание разрыва кровной связи его с миром и повергание его в состояние хаоса.

Поэтому охваченность манией неизбежно должна означать смысловой вакуум самосознания: ты лишь абстрактная единица среди множества себе подобных, но как необходимая часть этого мира ты пуст – ничего и никому не способен дать – ни обществу, ни себе. Порвав с миром кровные связи, ты лишь берёшь и не можешь насытиться. Ты как пересохший колодец, бездна, которую невозможно наполнить, сколько ни лей в неё. Ты – вечный нищий, ничто не обогатит тебя, всё делает лишь ещё беднее. В тебе нет священного *чувства меры* – того смыслового дна, отталкиваясь от которого, полученное возвращается обратно в мир преувеличенное сторицей, и тебе открывается божественная мудрость. Этого нет потому, что изначально не было дано свыше, а перебить волю богов силой собственной воли невозможно. Хоть думаешь, что тебе это удастся, что можешь сам взять то, чего тебе не дали бессмертные.

Можно, по-видимому, согласиться с утверждением, что мания – следствие превратно понимаемых взаимоотношений индивидуального, общечеловеческого и божественного, когда вместо гармонии

⁸ См.: Ibidem, 249е. Перевод с древнегреческого С. А. Жебелёва, в: Платон: *Полное собрание творений Платона в 15 томах*. Новый перевод под редакцией С. А. Жебелева, Л. П. Карсавина, Э. Л. Радлова, том пятый. Петербург 1922, с.128.

возникает противостояние „я’ человека и ‘они’ мира, но ‘я’ человека противостоит прежде всего ‘Ты’ Бога, одновременно находясь в сложных отношениях с ‘они’ мира и других людей“⁹. То есть, по мере распада мифологической картины мира и становления рациональности мания как проблема противостояния родственного и отчуждённого стала, по сути, натурфилософским воплощением проблемы противостояния *общего* и *частного*, когда частное абсолютизировалось теми, кто не желал отводить его на второй план. И в связи с этим становится понятен неистребимый первоначальный „даймонический” характер мании: *даймон*, трансформируясь из мифа в рациональность, стал выражением *частного, зависимого, несамодостаточного* смысла, в то время как *боги* воплощали мифологическое и позже натурфилософское представление о независимом и *общем* (но не *всеобщем*). В монотеизме как рациональной форме отношения к миру этот смысл в целом сохранился: единый Бог теперь есть *всеобщее, всё* – в то время как дьявол по-прежнему кроется в деталях. Поэтому неудивительно, что в христианском Средневековье одержимость и неистовость поведения не были в числе неразрешимых проблем. В качестве проблемы они с новой силой проявились на исходе Ренессанса в условиях утверждения принципов антропоцентризма и гуманизма, когда повсеместно пересматривались обычаи и законы мироустройства и попутно – престолонаследования. То есть, при сохранении единства сакрального основания социальных отношений изменялись лишь отдельные их проявления и аспекты. В частности, маниакальное отношение к власти стало следствием упрощённо понимаемой идеи пантеизма, когда вместо стремления к совершенству и поисков путей к нему в индивиде просыпалась „жажда ложной богоравности“ и присваивалось право свободно распоряжаться как своей, так и чужой жизнью¹⁰.

Поэтому охваченный манией не просто болен и вызывает жалость – он опасен, так как *не может не быть преступником*. Если он пребывает в активном безрассудстве и нарушает социальные устои, ему обязательно будут сопротивляться и противостоять, чтобы восстановить нарушенную меру; он же не сможет остановиться в своём желании достичь цели. Даже если изначально не будет в нём злобы,

⁹ Т. В. Бузина: *Сквозной сюжет Шекспира*, „Вестник Тамбовского университета“, Серия: Гуманитарные науки. Тамбов 2010, Выпуск 2 (82), с.167-168.

¹⁰ См.: *Ibidem*, с.168.

его ум и чувства будут направлены на реализацию совершенно иных установок и ценностей, ради которых он не раздумывая принесёт в жертву чужие жизни. Эту парадоксальную особенность отмечал Т. Мор: Ричард „был жесток и безжалостен, не всегда по злой воле, но чаще из-за честолюбия и ради сохранения или умножения своего имущества“¹¹. Потому он ни при каких обстоятельствах не считал бы себя преступником и потому не смог бы быть себе судьёй. Для него нет меры в этом мире традиций и ценностей.

Таким образом, одним из основных противоречий ренессансного субъекта власти являлась тяга к её узурпации как следствие желания доказать свою самодостаточность одними лишь человеческими основаниями. В связи с этим вряд ли можно полностью согласиться с мнением некоторых исследователей, что выведенный Мором и Шекспиром тип властителя терпит поражение исключительно в силу индивидуальной слабости – потому что желания его занять место бога превосходят возможности его как человека¹². История многократно подтверждает, что государи нового типа поначалу крайне редко задумывались о богоравности – им просто нужно было немедленно решить свои амбициозные задачи. Если, конечно, в их планы не входила религиозная реформа. Поэтому представление Ричарда-персонажа о государстве не было исторической фальсификацией: оно для него и вправду было личным достоянием, формой собственности, которую можно отвоевать, отнять силой – и это дело чести, личной доблести, удел высоких душ, не рождённых, чтоб пресмыкаться, хотя многое, разумеется, зависит и от искусства, и от „фортуны“¹³.

Ричард III как субъект верховной власти нового типа

Правители нового типа пытались стать не богами – это был пройденный этап истории, – а лишь субъектами абсолютного действия. Вот если бы при этом они продолжали развивать и укреплять традиционные идеи сакральности верховной власти с позиций пантеизма и одновременно оказывать влияние на место, роль и характер

¹¹ Томас Мор: *История короля Ричарда III (неоконченная)*. Перевод с английского и латыни М. Л. Гаспарова и Е. В. Кузнецова, в: Томас Мор: *Утопия. Эпиграммы. История Ричарда III*. Москва 1998, с.238.

¹² См.: Т. В. Бузина, *op. cit.*

¹³ См.: Л. Е. Пинский: *Шекспир*. Москва 1971, с.24.

религии в обществе, тогда, вполне возможно, им удавалось бы дольше удерживаться на престоле. Но в том-то и дело, что на завершающем этапе Средневековья они более не искали абсолютных оснований своим поступкам, лишь опирались на личную волю. Ричард Глостер в представлениях младших современников не только не говорит ни о какой богоравности, но, напротив, подчёркивает свою греховную суть как основание личной воли. И для решения этой задачи ему следовало оборвать связи со всеми прежними традициями, что он и сделал: „Перед лицом Ричарда, который ‘вышел’ из всех партий, физически истребил все партии, извратил все девизы партий, умолкает вражда партий, и тем самым восстанавливается единство государства, но уже как государства национального“¹⁴.

Скорее всего, Шекспира потому и привлёк тот исторический момент, что пантеизм сам по себе был весьма неустойчив как мировоззренческая позиция – мышление не находило достаточного основания для осознания места человека рядом с Богом, а одной лишь веры для этого уже было недостаточно. Поэтому пантеистическое мышление, в конце концов, должно было склоняться к богоборчеству. В конце концов, внутреннее противоречие пантеизма обрело своё предельное состояние в идеях гуманизма как противоречие индивидуальной свободы и божественной необходимости. Чем больше страсти и вдохновения вкладывал в свои действия ренессансный индивид, тем сильнее он становился зависимым от Бога. Однако в полной мере это удалось осознать лишь спустя почти сто лет, на рубеже XVI–XVII веков и не без помощи искусства. Именно в драматургии рефлексия обрела форму рационалистического морализма, который постепенно восстановил отчасти утраченный авторитет религии. Этому способствовал сценический процесс: моральные наставления предпосылались сценическому действию и завершали его; сама же пьеса как развёртывание истории индивидуалистического самоутверждения человека в мире обладала определённой долей непредсказуемости, а значит, субъект демонстрировал некоторую суверенность и свободу воли, не зная, что в действительности является исполнителем Божьей воли, и наверху за него уже всё решено.

В то же время, драматурга отделяла от тех событий солидная временная дистанция, позволявшая ему наблюдать за ними со стороны, а также новое, рационалистическое мировоззрение, побуждав-

¹⁴ Ibidem, с.23.

шее личность быть моральным судьёй происходящего в пьесе и не становится в оппозицию религиозной идее. Поэтому Шекспир всячески порицал то, что Ричард Глостер как персонаж не только не претендует на сакрализацию собственной персоны как правителя, но и отрицает необходимость сакрализации, желая чисто человеческого признания своих (бес)человечных заслуг. Он ещё не дошёл до того состояния, чтобы отрицать Бога, но уже не нуждается в Нём, желая стать самодостаточным без Его помощи. По этой причине даже самые ярые критики признавали, что „преступники часто не уступают в самоотверженности героям, особенно на поле битвы“¹⁵. Храбрость Ричарда признавал и Т. Мор:

На войне он был весьма недурным военачальником, ибо к ней он был куда более расположен, нежели к миру. Часто он побеждал, иногда терпел поражения, но никогда из-за недостатка личного мужества или рассудительности [даже его соперники не приписывали это неспособности или трусости с его стороны]¹⁶.

Но в том-то и противоречие, что человек как подобие Божье полноценен и самодостаточен лишь в своей осознанной относительности и принадлежности Богу и зависимости от Него. В непонимании этого или осознанном игнорировании и тайлся критерий маниакальности властителя нового типа: он самоуверен и физиономия его власти „перекошена“ абсолютной рациональностью. Потому и не заложена в нём тяга к миру: в стремлении перековать его и подчинить строгой рациональности, он уничтожает самые её основы и рушит не только существующие политические и религиозные традиции, но и ставит под сомнение традиционные представления о человеке.

Томас Мор прекрасно понимал это, наблюдая за тем, как Генрих VIII самозабвенно борется с судьбой за продолжение династии, и наверняка проводил какие-то смысловые параллели. Приводя последние слова умирающего короля Эдуарда IV, Мор настойчиво вкладывал в уста монарха мысль, что правитель должен оставаться для подданных сакральной персоной. Обращаясь к наследникам, сторонникам и последователям, король произносит почти те же слова, с какими Христос обращался к ученикам:

¹⁵ Ibidem, с.16.

¹⁶ Томас Мор, *op. cit.*, с.238.

...Я убеждаю вас и требую от вас всех ради вашей ко мне любви, ради моей к вам любви, ради господней к нам любви: с этого часа впредь забудьте о всех обидах и *любите друг друга*. Я твёрдо верю: вы сделаете это, если здесь, на земле, вам хоть что-нибудь дорого – бог или ваш король, родство или свойство, отечество или собственная ваша безопасность¹⁷.

Эта сцена несёт двоякий смысл: автор во что бы то ни стало хотел убедить читателей, что верховная власть несокрушима в своих сакральных основаниях, и что посягательства герцога Глостера на неё есть не что иное как дьявольский замысел, а разжигание им междоусобиц после коронации – его закономерные последствия. Мотив сакральности как основания легитимности короля усиливался тем, что Мор сознательно наделил Ричарда Глостера манерой поведения Иуды:

„...Внешне льстивый перед теми, кого внутренне ненавидел, он не упускал случая поцеловать того, кого думал убить...“¹⁸

Озабоченность Т. Мора проблемой легитимности верховной власти можно понять. Обратной стороной частой узурпации правления стала проблема критериев незаконно(рождён)ности правителей. Что, в общем-то, логично: сакральная персона на престоле не может быть незаконной по определению; Бог не допустит на престол ни бастарда, ни самозванца. Тем не менее, реальность расходилась с теорией и тем более с религиозной идеей: в Италии бастардов имели все представители высших кругов Церкви и светской власти, и те не только силой захватывали власть, но иногда получали от пап на то благословение. В результате пересматривались вековые традиции наследования и правления, а также возникали новые трактовки привычных религиозных ценностей. В Англии традиции дольше оставались фактором, сдерживающим процессы деструкции общественных отношений; отличие тамошних перемен состояло в том, что не незаконные отношения стремились узаконить, а в законных процедурах чаще всего выискивались противоречия и нестыковки, на основании которых привычные ситуации переставали быть законными. Иными словами,

¹⁷ Ibidem, с.242 (выделено мной – М. С.).

¹⁸ Ibidem, с.238. Удивительно не только то, что именно заставляло Мора создавать заведомо ложный личностный портрет последнего Плантагенета, но и то, что, ничего не зная о произведении Макиавелли, он фактически говорил теми же словами. Очевидно, это была та ситуация, когда актуальность идеи рождала её отражения в различных умах независимо от культуры.

не отменяя старых законов и не создавая новых, правители формировали новые критерии того, что считать законным; смысл содержания изменялся вследствие создания новой формы. Одним из наиболее показательных примеров является признание нелегитимности статуса Эдуарда IV, что и позволило Ричарду Глостеру стать королём:

Ради этого придуманы были разные средства; но самым главным и важным из всех измышлений было утверждение, что либо сам король Эдуард, либо его дети, либо и тот и другие являются незаконнорождёнными; а стало быть ни он сам не имел права наследовать корону после герцога Йорка, ни принц после него [и по этой причине протектор является единственным законным сыном герцога Йорка и только он имеет право царствовать]. Чтобы объявить короля Эдуарда незаконнорождённым, пришлось возвести хулу на родную мать протектора, которая родила их обоих: тут нельзя было поступить иначе, как сделать вид, будто она была прелюбодейкою. Тем не менее он и на это пошёл, чтобы достигнуть своей цели, однако пожелал, чтобы об этом было сказано менее определённо и более благожелательно, а именно тонко и обиняком, словно люди не решаются сказать всю правду, чтобы его не обидеть. Зато уж где речь шла о мнимой незаконнорожденности детей короля Эдуарда, там он потребовал разгласить это открыто и раздуть до крайней степени¹⁹.

Независимо от того, правдивы были эти события или нет, авторы не желали сеять сомнения у читателей и должны были наделять рассказ соответствующими аргументирующими посылами. Первый посыл был эмоциональный и сформирован в дискурсивных нормах ренессансного платонизма, потому воспринимался современниками как объективный фактор. Т. Мор ухватился за идею *телесного несовершенства* Глостера и сделал на этом сильный акцент. Шекспир же обобщил и довёл этот мотив до чувственно-эмоционального завершения, и в этом отношении наиболее последовательно отразил один из принципов ренессансного гуманизма – прямую связь и взаимообусловленность телесного и душевного²⁰. Согласно этому представле-

¹⁹ Ibidem, с.280.

²⁰ Есть мнение, что платоновские идеи Шекспир мог заимствовать от Дж. Флорио или Т. Хоуби (См.: В. С. Фролова: *Платонизм у Шекспира*, в: Проблемы современного образования, 2016, № 3, с.36), и они также могли лечь в основание сценического образа Ричарда Плантагенета. Так, в переведённом Т. Хоуби трактате Бальтазара Кастильоне „Придворный“ находим прямое указание на взаимосвязь душевной добродетели и внешней красоты:

нию, Ричард не просто физически ущербен – в конце концов, ущерб телу могут нанести война, несчастный случай или чья-то злонамеренность – но Ричард Глостер *врождённо* ущербен, и потому не только внешне. Он *недоделан* (half made up), *незакончен* (unfinish'd); *родившийся раньше срока* (sent before my time / Into this breathing world). Всё говорит о том, что *он никак не соответствует времени*, в котором живёт, и потому ему не писаны его традиции и законы. С одной стороны, он всё рушит, к чему прикасается, потому что это соответствует способностям и возможностям его наполовину оформленного тела; он действует без оглядки на общественные нормы и законы, потому что тело его сформировалось вопреки божественному замыслу. С другой стороны, всё создаваемое им выглядит гротескно и способно вызывать только смех, презрение или в крайнем случае жалость. Потому что Ричард Плантагенет не просто уродлив, а ещё и *смешон* – так, как только может быть смешон *шут*.

В данной ситуации смех был просто необходим Шекспиру, ведь только так можно доказать возможность побороть это воплощение зла. Смеховой момент – указатель на личностную и социальную уязвимость Ричарда III, которая в конце концов является основанием его низвержения. И хотя сам он прекрасно понимает это и пытается осмеять собственную комедийность до того, как это сделают его враги, ему это не помогает: смех ничего не создаёт и ничего не сохраняет, он лишь сдёргивает маску и разоблачает. И даже все его усилия в осмеении окружающих и вовлечении их в гротескные роли лишь ускоряют его социальную кончину.

Следуя этой логике, личность Ричарда III можно представлять, по крайней мере, с двух противоположных позиций: как воплощение абсолютного, непротиворечивого демонического зла и как воплощение зла продуктивного, неоднозначного и необходимого – того, что лишь кажется разрушительным, но, по словам Г. Гегеля, „правит ми-

„Говоря о красоте, проявляющейся лишь в телах и особенно в человеческих лицах... мы скажем, что она есть истечение божественной благости. Красота изливается как луч солнца на все сотворенные вещи. Но когда она отражается в лице с правильными чертами, с радостной игрой утонченных красок, света и тени, она является в своём высшем блеске. И своего обладателя красота наделяет изяществом и чудесным сиянием, словно луч солнца, отразившийся в красивой золотой вазе, отделанной и украшенной драгоценными камнями“ (Бальтассаре Кастильоне: *О придворном*. Перевод с итальянского О. Кудрявцева, в: *Эстетика Ренессанса [Текст]: антология: в 2 томах*. Составитель и научный редактор В. П. Шестаков. Москва 1981, Т. 1, с.347).

ром” и толкает развитие вперёд. По всей видимости, объективной является всё же вторая позиция – это видно при сравнении различных хроник того времени, – но художественная и философская мысль были с этим не согласны и отражали, как думалось, непротиворечивое осуждение Ричарда III. Специфика отражения отличалась лишь степенью эмоциональности авторского отношения. Рассказ Мора – *прозаический* во всех отношениях – констатирует это несовершенство достаточно спокойно и с беспристрастной протокольнойностью:

...Мал ростом, дурно сложен, с горбом на спине, левое плечо намного выше правого, неприятный лицом – весь таков, что иные вельможи обзывали его хищником, а прочие и того хуже. Он был злобен, гневлив, завистлив с самого своего рождения и даже раньше. Сообщают как заведомую истину, что герцогиня, его мать, так мучилась им в родах, что не смогла разрешиться без помощи ножа, и он вышел на свет ногами вперёд ...и даже будто бы с зубами во рту²¹.

Однако вряд ли демонический образ последнего Плантагенета сохранил бы такую популярность в истории, если бы не поэзия Шекспира, в которой идея безобразия доведена до эстетического предела, насыщенная эмоциями личного авторского отношения и удовлетворённого отношения Ричарда как персонажа к самому себе:

²¹ Томас Мор, *op. cit.*, с.238. Надо сказать, что Мор, фактически, дословно воспроизвёл отрывки из сочинения Джона Роуза *История королей Англии (1477 – после 1486 гг.)*. Правда, Роуз ещё утверждал, что Ричард пребывал в утробе матери целых два года, но Мору, видимо, это показалось чрезмерным: „Ричард родился в Фотерингее в Нортгемптоншире, пробыл в утробе матери два года и появился с зубами и волосами до плеч. ...При его рождении Скорпион находился в асценденте, что является знаком дома Марса. И, подобно скорпиону, он сочетал спокойную внешность с разящей подоплёкой. Он принял своего лорда короля Эдуарда V вежливо, с объятиями и поцелуями, и месяца через три или чуть больше убил его вместе с братом. ... Он был маленького роста, с коротким лицом и неравными плечами, правое выше, левое ниже. ... Этот король Ричард, который был чрезмерно жесток в свои дни, царствовал три года [*sic*] с лишком, так, как и должен царствовать Антихрист. И, подобно грядущему Антихристу, он был сражён в момент величайшей гордыни. ...При всём при этом, правдиво отмечу к его чести: он держался, как благородный солдат, и, несмотря на своё маленькое тело и слабосильность, с честью защищался до последнего вздоха, вновь и вновь крича, что его предали, и плача: ‘Измена! Измена! Измена!’” (John Rous: *History of the Kings of England*, in: A. Hanham: *Richard III and his Early Historians, 1483-1535*. Oxford 1975, p.120-121,123).

Why, I, in this weak piping time of peace,
 Have no delight to pass away the time,
 Unless to spy my shadow in the sun
 And descant on mine own deformity:
 And therefore, since I cannot prove a lover,
 To entertain these fair well-spoken days,
 I am determined to prove a villain
 And hate the idle pleasures of these days.
 Plots have I laid, inductions dangerous,
 By drunken prophecies, libels and dreams,
 To set my brother Clarence and the king
 In deadly hate the one against the other...²²

Как видим, Шекспир намеренно представил его не мыслителем, с трудом приходящим к действию (по примеру Гамлета), а *деятелем, одержимым мыслью*: Ричард не может отделаться от навязчивой идеи победить всех, и все свои умственные способности направляет на решение этой задачи. Он ни на секунду не останавливается, чтобы взвесить свои действия, но при этом не может гармонически согласовать свои действия с идеей, а также с тем, как эту идею воспринимают окружающие. Он, по сути, *является её рабом*, а значит, *рабом самого себя*. Мысль в его исполнении – не божественный дар, а дьявольское проклятье, ведущее к разрушению.

По всей видимости, отталкивающий образ короля сложился у Шекспира на основании некоторых личных психологических, а также эстетических предпочтений, свойственных ему как поэту; наиболее выразительно они отразились в его лирике. Будучи возвращённым на эстетическом опыте Высокого Ренессанса, Шекспир привык це-

²² William Shakespeare: *King Richard III*, I, 1, in: *The Complete Works of William Shakespeare*. Oxford 1994, p.98.

[Чем в этот мирный и тщедушный век
 Мне наслаждаться? Разве что глядеть
 На тень мою, что солнце удлиняет,
 Да толковать мне о своём уродстве?
 Раз не дано любовными речами
 Мне занимать болтливый пышный век,
 Решился стать я подлецом и проклял
 Ленивые забавы мирных дней.
 Я клеветой, внушением опасным
 О прорицаньях пьяных и о снах
 Смертельную вражду посеял в братьях —
 Меж братом Кларенсом и королём (*Перевод А. Д. Радловой*)]

нить внешнюю красоту не просто как индивидуальную особенность, но как критерий личного совершенства и основание благого поведения. Некоторые исследователи полагают, что в этом поэт пошёл дальше Платона: он превратил красоту из „идеальной поверхности из чистого золота“, в которой отражалась Вечная Красота, в архетипический образец или субстанцию, по сравнению с которой все прекрасные вещи выглядят лишь тенями²³. Неудивительно поэтому, что отдельные недостатки внешности исторического Ричарда гипертрофировались с подачи Шекспира в непомерное уродство (опять же, не без помощи Томаса Мора). Следуя логике поэта, можно сказать, что индивидуальное уродство должно было своим присутствием делать все безобразные ситуации лишь тенью своего абсолютного безобразия. Поэтому в шекспировской трактовке образа Ричарда все дисгармоничные характеристики как бы сами собой, без особого авторского усилия, доведены поэтической формой представления до предела чудовищности. Драматург без обиняков согласился со всеми преступлениями, которые повесили на его совесть Мор и более ранние хронисты: убийство Генриха VI Ланкастера и его сына принца Эдуарда, обольщение вдовы Генриха Ланкастера Анны Невил ещё до похорон её мужа, убийство родного брата герцога Кларенса, малолетних „принцев в Тауэре“, последующее отравление жены и намерение жениться на несовершеннолетней племяннице.

Нельзя не обратить внимания на то, что Ричарду потому и вменяется столько действительных и вероятных преступлений, что все они сосредоточены вокруг членов его семьи (устранение лиц, не имеющих с ним кровной связи, рассматривались авторами как политические действия). И хотя никто из критиков не называет его напрямую маньяком, всё же мотив кровнородственной озабоченности короля подчёркивается особо – и не только чтобы подтвердить невероятную жестокость Ричарда, но и лишний раз напомнить, как сильно король Ричард не принимал всего, на чём тысячелетиями держалось человеческое общество, метафорой которого всегда была семья²⁴. В частности, П. Акройд усмотрел в пьесах Шекспира трансформацию языческих мотивов в христианские, когда убийство родителей и инцест как более древние формы соперничества сменяются

²³ См.: The Poems of Shakespeare. Edited with an Introduction and Notes by George Wyndham. London 1898, p. CXXII.

²⁴ См.: П. Акройд: *Шекспир. Биография*. Перевод с английского О. Кельберт. Москва 2009, с.75.

не менее отталкивающим братоубийством. Выполнение божьей заповеди почитать отца и мать вполне сочетается с устранением ближайших кровных родственников, ибо об этом в заповедях ничего не сказано. К тому же, если у амбициозного претендента на престол есть время смиренно ожидать кончины родителей, то относительно ближайших законных и таких же амбициозных кровных родственников этого времени у него нет. Эта коллизия и определяла многие сюжеты шекспировских произведений:

...В пьесах братья не ладят между собой чаще, чем отцы и сыновья. [...] ...Соперничеству братьев, особенно классической ситуации, когда младший брат узурпирует место старшего, в шекспировских текстах уделяется значительное внимание. Отцовская любовь достаётся Эдмунду вместо Эдгара, а Ричард III восходит на престол по трупам племянников. Война Алой и Белой розы, по Шекспиру, может рассматриваться как братоубийственная. Клавдий убивает брата, а Антонио устраивает заговор против Просперо. [...] Убийство Каином его брата Авеля упоминается в двадцати пяти случаях. [...] Соперничество между братьями возникает столь естественно, как будто задано с самого начала правилами композиции²⁵.

И при этом возобновляет всё то же извечное нарушение целостности и упорядоченности мира. В трагедии о Ричарде III Мор и Шекспир ещё выражали надежду на восстановление старых родовых связей в новых условиях и мирный характер правления Тюдоров после затянувшихся войн. Но уже в *Гамлете* со всей ясностью и очевидностью утверждалась невозможность коренного выправления „покосившегося“ мироустройства. К началу XVII века европейское человечество ни на шаг не продвинулось вперёд в сравнении с древними: „связь времён“ по-прежнему воспринималась в нормах кровнородственных отношений – как связь поколений. В этом ещё один смысловой оттенок знаменательной фразы: *The time is out of joint*. Как только происходит покушение на родовой авторитет и силу родовых связей – рушится временная преемственность, и восстановить её невозможно, ибо общество, лишаящее себя внутренней поддержки основных составляющих, сразу же оказывается беззащитным перед натиском внешних врагов. Спустя годы Шекспир остался верен себе: истребив верхушку родственной правящей династии, Ричард III становится лёгкой добычей „третьей силы“ формирующегося рода

²⁵ Ibidem, с.75-76.

в лице Генриха Тюдора; точно так же, спустя годы, Гамлет, сознательно истребив свою семью, открывает двери королевства войскам Фортинбраса...

Второй посыл, выдвинутый против Ричарда III, был религиозно-идеологическим и заключался в том, что такие проступки мог совершить только одержимый дьяволом. Только так можно было понять, почему одним из главных признаков маниакальности властного чувства Ричарда III как персонажа было желание не подчинить своих врагов и затем управлять ими, а физически их уничтожить; лояльных же себе брать под строгий контроль. Это не походило на политический стиль его предшественников (при этом Мор умалчивал о тихом психическом расстройстве Генриха VI, которого перед этим сместил Эдуард IV). Мор настаивал на том, что Ричард полностью отдавал себе отчёт в том, что его понимание сущности верховной власти коренным образом отличалось от традиционных представлений и господствующих доселе церемоний её получения. Смысл, который Ричард III вкладывает в верховенство власти, состоит в том, что она тотальна и не терпит присутствия ничего, что хоть как-то представляет для неё угрозу. Она абсолютна, в том понимании, что даже неявленная, потенциальная оппозиция умаляет её фактичность. Ричард понимает, что другого основания его личной власти, кроме его личного желания, воли и военной силы, у него нет. Это может означать лишь то, что процесс добывания Ричардом Глостером английского престола воспринимался ближайшими потомками как чудо. Однако если у язычников присутствие чудесного, демонического носило формально положительный характер²⁶, то в христианских нормах оно уже

²⁶ „...Всё „демоническое” занимает средину между божеством и смертным. Какова же мощь демона?

Служить истолкователем и передатчиком богам того, что у людей, людям того, что – у богов; у людей – он передаёт их моления и жертвоприношения, у богов – их повеления и воздаяния за жертвоприношения; занимая место между богами и людьми, демон восполняет тех и других, связуя собою всё. Чрез демонов проходит вся мантика, жреческое искусство, касающееся жертвоприношений, посвящений, заклятий, всякого волшебства и колдовства. Божество не входит в соприкосновение с человеком; всё общение и все переговоры богов с людьми – и когда они бодрствуют, и когда они спят – происходят чрез демонов. И муж мудрый во всём этом – муж ‘демонический’ муж же мудрый во всём другом – касается ли это искусств, или ремёсел каких – ремесленник“ (Платон: *Пир*, 202e-203a. Перевод с древнегреческого С. А. Жебелёва, в: *Полное собрание творений Платона в 15 томах*. Новый перевод под редакцией С. А. Жебелева, Л. П. Карсавина, Э. Л. Радлова, том пятый. Петербург 1922, с.49-50)

представлялось амбивалентным и могло означать как присутствие божественного Абсолюта, так и происки лукавого. Ведь оно являлось выражением неконтролируемой, безмерной силы. В этом смысле, чудо *демоническое* в контексте христианской догмы есть проявление злѳ, несвободной воли человека как следствия установления союза с дьяволом, когда человек выступает орудием воплощения его целей.

Томас Мор напрямую не называл Ричарда Глостера дьяволом, но умело подводил читателя к этой мысли, вложив в уста королевы Елизаветы соответствующие слова. Вдова Эдуарда IV, опасаясь за жизнь наследника, желает для него не просто безопасного места пребывания, а *Убежища*, функцию которого может выполнять только освящённая церковью земля; в данном случае, это Вестминстерское аббатство. Иными словами, королева не только трактует ситуацию как политическую, но и видит в ней сверхъестественную угрозу короле: „И где же мне считать его (принца Уэльского – М. С.) в безопасности, если он не в безопасности даже здесь, в этом убежище, чьих прав ни разу не нарушал доселе ни один тиран, даже обуйанный самим дьяволом (*was there never tyrant yet so devilish*)?“²⁷. Глостер, понимая логику королевы, спешит поставить её на место: убежище спасает только законных монархов и их наследников – только им как носителям священной сущности постоянно угрожает нечистый. Но сын Елизаветы незаконен, он не наследник, а обычный человек (по сути, потенциальный узурпатор); следовательно, ему ничто не угрожает, пока он сам не угрожает никому; и значит, его место в Тауэре вместе со своим младшим братом. Елизавета, понимая это, осознаёт своё бессилие:

...Оказывается, мой сын не имеет права на убежище и поэтому не должен пользоваться им!²⁸.

Шекспир усугубил этот мотив, сделав его само собой разумеющимся, и в сцене первой встречи Глостера с леди Анной у гроба Генриха VI она бросает ему в лицо именно обвинение в нечистоте:

What black magician conjures up this fiend,
To stop devoted charitable deeds? ²⁹

²⁷ Томас Мор, *op. cit.*, с.257.

²⁸ *Ibidem*, с.257. [„But my son can deserve no sanctuary, and therefore he cannot have it” (Thomas More: *The History of King Richard the Third*. A reading Edition by George M. Logan. Bloomington and Indianapolis 2005, p.44)].

В то же время, узурпация престола как дьявольское чудо предстаёт перед окружающими как нечто абсурдно-иррациональное, и одновременно обыденное и банальное, потому что

для того, чтобы что-либо произошло, нет необходимости в каких-либо переменах в предшествующих обстоятельствах. Для этого необходимо одно: желание.³⁰

Как таковое, как чистая форма проявления поступка, желание является лишь волевым импульсом, неудержимым порывом, и потому бесконечным и бесконечно поглощающим всё вокруг. Из-за всего этого Ричардом как персонажем, безусловно, можно восхищаться – ведь он субъект воли, военачальник, стратег. Но какой бы ни была степень его популярности в народе, он никем и никогда не будет признан законным правителем. И поэтому он сможет править лишь до тех пор, пока будет в силах устранять соперников. Ни на что другое он не годен в действительности, хотя возможностей у него множество – но он родился таким, чтобы всё своё время тратить не на благое правление и создание чего-то нового, а на присвоение чужого и разрушение кем-то созданного. Он в этом смысле являет пример законченного политического неудачника: будучи чрезвычайно талантливым, действует крайне несвоевременно; он слишком рано пришёл на историческую арену, когда новые политические принципы обретения власти ещё только начинали формироваться после долгих веков господства родовых традиций и строгих церемоний. И потому все его действия кажутся ненормальными.

Таким образом, и Мор, и Шекспир полагали, что для легитимности Ричарда III недостаточно религиозных и юридических критериев, нужен ещё критерий этический: истинный претендент на корону не может садиться на трон, обagrённый кровью. И если Мор ещё

²⁹ William Shakespeare: *King Richard III*, I, 2, op. cit., p.100.

[Каким волхвом проклятым этот дьявол
К нам прислан, чтоб мешать святому делу? (Пер. А. В. Дружинина)]

Какой колдун врага сюда признал,
Чтоб набожному делу помешать? (Пер. А. Д. Радловой)]

Примечательно, что в последнем переводе обозначен дополнительный смысл: „враг“ может быть политической персоной, а может быть врагом рода человеческого, но лишь последний всегда является врагом Короны.

³⁰ Я. Э. Голосовкер: *Имагинативный Абсолют. Часть 2. Логика Античного мифа*, в: Я. Э. Голосовкер: *Избранное. Логика мифа*. Москва 2010, с.121.

оговаривал, что недопустимо проливать кровь другого монарха, то Шекспир говорил о любом кровопролитии как о несовместимом с короной. Поэтому, в представлении Мора и Шекспира, Ричарду в действительности было нужно совсем не то, в чём его сподвижники старались убедить общественность во время провозглашения его королём:

...Мы пришли сюда, дабы принести вам то, в чём вы заведомо долго нуждались, чего страстно желали, за что готовы были отдать большие деньги, за чем пустились бы в самый дальний путь; мы же это приносим вам без усилий, страданий, затрат, риска и опасности для вас. Что же это такое? Это безопасность вашей жизни, спокойствие ваших жён и дочерей, сохранность вашего имущества: ведь в былые времена вы ни в чём этом не могли быть уверены³¹.

Налицо явная подмена понятий: безопасность нужна не столько подданным, сколько самому Глостеру. Об этом свидетельствует то, что после захвата власти Ричард совершенно потерял покой, когда, казалось бы, должен был настать черёд мирного правления. Но междоусобная вражда только обострилась, а это „как бы указывает на то, что властителю нужно нечто и помимо власти, что его власть не есть предел устремлений и вожделений властителя“³² – и это „нечто“ есть законность. Поэтому в действительности Ричард выступает субъектом собственной воли, лишь пока не достиг цели. После коронации же он оказывается в руках судьбы, самой слабой фигурой, не имея возможности править по собственной воле как законный правитель.

И по этим причинам незаконный властитель не имеет права перевести дух – это представление укоренилось ещё с легендарных времён Ореста, преследуемого Эринниями. Мор описывал это довольно красочно:

...Все эти три года он прожил с великой тревогой и заботами о себе, с безмерным ужасом, страхом и скорбью в душе. ...Ум его ни на миг не бывал спокоен и он никогда не чувствовал себя в безопасности. Когда он выходил из дома, его глаза тревожно бегали вокруг, его тело было втайне прикрыто доспехами, рука всегда лежала на рукояти кинжала, выглядел он и держался так, словно всегда готов был нанести удар. По ночам он плохо отдыхал, долго лежал без сна, погружённый в размышления; тяжело утомлённый заботами и бессонни-

³¹ Томас Мор, *op. cit.*, с.286.

³² П. А. Сапронов: *Власть как метафизическая и историческая реальность*. Санкт-Петербург 2001, с.479.

цей, он скорее дремал, чем спал, и его беспокоили ужасные сны. Иногда он внезапно вскакивал, бросался вон из постели и бегал по комнате, ибо его не знавшее покоя сердце без конца металось и содрогалось от угнетающих впечатлений и грозных воспоминаний о его преступном деянии. Не видел он покоя и вокруг себя³³.

Вероятно, не будет преувеличением предположить, что Томас Мор на примере сфальсифицированной истории короля Ричарда III развернул идею о том, что судьба не быть законным государем, будучи частью королевской династии и обладая способностями, является причиной возникновения мании как противоречия слабеющих христианских норм поведения и крепнущего индивидуализма. К сожалению, Мор не окончил своего труда, и можно только догадываться, каковым в его описании предстал бы Ричард III в последние часы своей жизни, перед битвой при Босуорте. Однако всё, что не успел сделать политик и философ, завершил драматург в 1591 году. В его трактовке, сделанной уже на пороге новой эпохи с её рационализмом, короля Ричарда терзает та же судьба, что и всех, поправших священное право власти: он не может забыться долгожданным отдыхом, когда ему это особенно нужно – перед решающей битвой, – потому что его терзает *страх*.

Монолог, который вложил в его уста Шекспир, конечно же, написан человеком совсем иного времени. Однако это всё же собственное мнение героя, которое не во всём совпадает с авторским мнением. И прежде всего, в том, что страх короля – лишь форма протеста перед возможным проигрышем и потерей власти. Не жизни – без власти его жизнь ничто. Ричард мечется в противоречии совести и себялюбия. И в нём ожидаемо побеждает себялюбие, потому что совесть для него – лишь мгновение слабости, эхо слабеющего христианства – не зря король отождествляет её с трусостью:

Give me another horse: bind up my wounds.
 Have mercy, Jesu! – Soft! I did but dream.
 O coward conscience, how dost thou afflict me!
 The lights burn blue. It is now dead midnight.
 Cold fearful drops stand on my trembling flesh.
 What do I fear? myself? There's none else by:
 Richard loves Richard; that is, I am I.
 Is there a murderer here? No. Yes, I am:

³³ Томас Мор, *op. cit.*, с.298.

Then fly. What, from myself? Great reason why:
 Lest I revenge. What, myself upon myself?
 Alack. I love myself. Wherefore? for any good
 That I myself have done unto myself?
 O, no! alas, I rather hate myself
 For hateful deeds committed by myself!
 I am a villain: yet I lie. I am not.
 Fool, of thyself speak well: fool, do not flatter.
 My conscience hath a thousand several tongues,
 And every tongue brings in a several tale,
 And every tale condemns me for a villain.
 Perjury, perjury, in the high'st degree
 Murder, stem murder, in the direst degree;
 All several sins, all used in each degree,
 Throng to the bar, crying all, Guilty! guilty!
 I shall despair. There is no creature loves me;
 And if I die, no soul shall pity me:
 Nay, wherefore should they, since that I myself
 Find in myself no pity to myself?
 Methought the souls of all that I had murder'd
 Came to my tent; and every one did threat
 To-morrow's vengeance on the head of Richard³⁴.

³⁴ William Shakespeare: *King Richard III*, V, 3, op. cit., p.136.

[Умилосердись, Иисусе! Тсс!
 Всё это сон. Ты, совесть, жалкий трус,
 Мучитель мой! Где я? Глухая полночь;
 Огонь блестит каким-то синим светом.
 Дрожу я; всё в холодных каплях тело.
 Мне страшно. Но чего ж? Я здесь один,
 Я Ричарда люблю и Ричард – друг мне;
 Я – тот же я. Здесь нет убийцы. Нет,
 Здесь есть убийца. Да, убийца – я!
 Бежать мне? От кого же? от себя?
 И от чего бежать? от мщенья, что ли?
 Кто ж будет мстить? Я – самому себе?
 Но я люблю себя. За что ж люблю?
 Иль я себе добро какое сделал?
 О, нет! себе скорей я лютый враг
 За мерзкие дела и преступленья.
 Я изверг. Нет, я лгу – не изверг я.
 Дурак, не льсти! Дурак, себя ты хвалишь!
 Сто языков у совести моей,
 И каждый мне твердит по сотне сказок,
 И в каждой сказке извергом зовёт.
 Я клятвам изменял и – страшным клятвам;

Таким образом, в решающий момент, перед битвой, Шекспир показал вовсе не муки большой совести и не религиозное раскаяние, а пик агрессивности монаршей воли, последний и сильнейший всплеск одержимости, душевной страсти, обращённой королём к самому себе. Это первый (и единственный) момент, когда он осознаёт настоящее препятствие к исполнению своих желаний. И его ужас – следствие невероятной усталости от жизни, проведённой в постоянной борьбе, и впервые пробудившейся неуверенности в победе. Для драматурга важно было показать, что какое бы решение ни принял монарх, оно приведёт его к поражению, ибо судьба никогда не была в его руках. Одержжи верх совесть, ему пришлось бы сложить оружие, не вступая в бой; но верх берёт себялюбие, и потому на следующий день государь всё равно идёт на битву и проигрывает её: правда за *истинным наследником Короны*, как это понимал автор замысла. Последние слова короля – не только решающий момент боя, но и момент раскрытия истины: Ричард понимает, что он не может победить того, на чьей стороне Господь:

Я убивал – и страшно убивал я;
 Толпы грехов – и гибельных грехов –
 Сошлись перед оградой судебной,
 И все кричат: „Он грешен, грешен, грешен!“
 Отчаянье грызёт меня. Никто
 Из всех людей любить меня не может.
 Умру я – кто заплачет обо мне?
 Меня ль жалеть им, ежели я сам
 Себя жалеть не в силах и не вправе?
 Мне грезилось, что души мертвецов,
 Убитых мной, сошлись в мою палатку
 И каждый мне грозил и звал на завтра
 Отмщение на голову мою (Пер. А. В. Дружинина)]

Об этом же говорит шекспировский Макбет:

Still it cried „Sleep no more!“ to all the house:
 „Glamis hath murder'd sleep, and therefore Cawdor
 Shall sleep no more; Macbeth shall sleep no more“
 (William Shakespeare: *Macbeth*, II, 2, op. cit., p.865).

[Всюду разносилось:
 „Не надо больше спать. Гламисский тан
 Зарезал сон, и больше тан кавдорский
 Не будет спать, Макбет не будет спать!“
 (Пер. Б. Л. Пастернака)]

I think there be six Richmonds in the field;
Five have I slain to-day instead of him³⁵.

Но в том-то и трагедия Ричарда III, что чем отчётливее он осознаёт невозможность быть правым, тем сильнее в нём маниакальное неистовство отстоять место, которое он сам для себя определил в этом мире. И Шекспир сцена за сценой проводил зрителя вдоль процесса нарастания внутреннего личностного противоречия Ричарда. Последние его слова в разгар битвы при Босуорте выражают высшее состояние воли уже не властвовать, а жить несмотря ни на что: корона как **абсолютная цель** в критический момент становится **абсолютным средством** сохранения жизни властного субъекта. Одержимость загадочна тем, что в критический момент в ней как бы сходятся все крайности, и то, за что упорно боролся всю жизнь, теперь готов отдать – ведь, по сути, оно и так не принадлежит ему, оно захваченное, а не предназначенное. И Ричард Плантагенет готов всё начать сначала:

...I have set my life upon a cast,
And I will stand the hazard of the die...
A horse! a horse! my kingdom for a horse!³⁶

Но даже этот предельный антагонизм не в состоянии остановить неумолимый ход судьбы.

Примечательно, что, осуждая и отрицая суть мировоззренческой позиции Ричарда III, Мор и Шекспир размышляли в полном согласии с его логикой. Иначе они ни за что не смогли бы обосновать законность Генриха Тюдора перед Ричардом (апологетическая цель

³⁵ William Shakespeare: *King Richard III*, V, 4, op. cit., p.138.

[Мне кажется, шесть Ричмондов здесь в поле!
Убил я пятерых, но цел единый! (Пер. А. Д. Радловой)]

Очевидно, что Шекспир ориентировался на идеологические приоритеты своего времени и должен был мириться с прихотями цензуры. Но помимо этого ему необходимо было показать, что окончание войны Роз имело под собой судьбоносность, сверхъестественную неизбежность: после правления такого монарха, как Ричард, у страны не было выбора, кроме как перейти к миру и согласию под эгидой правления Тюдоров.

³⁶ Ibidem.

[... Я жизнь мою
Поставил на игру судьбы – и смело
Взгляну в глаза неумолимой смерти!
Коня! – Коня! – Всё царство за коня!!
(Пер. Г. П. Данилевского)]

тех, кто сам живёт при Тюдорах, не является достаточным основанием). Но в данной ситуации совпали механистическая и диалектическая картина исторического процесса: минус на минус даёт плюс; экспроприация экспроприаторов или узурпация узурпированного является продуктивной движущей силой, будучи выражением исторического закона отрицания отрицания.

Заключение

Всё сказанное позволяет утверждать, что и Т. Мор, и У. Шекспир как выходцы из среднего класса не могли с воодушевлением воспринимать происходившие социальные перемены. И это неудивительно: именно представители различных уровней среднего класса как наиболее многочисленного зачастую выказывают наибольшую консервативность взглядов и ратуют за нерушимость старых традиций под видом сохранения этической благопристойности. И это не парадокс, ибо средний класс набирал силу на исходе Средневековья, во многом благодаря укреплению и возвышению монархической власти. Поэтому любое локальное заявление о праве средний класс воспринимал как личную угрозу и сигнал к междоусобице.

По иронии судьбы, борьба Ричарда Глостера за трон ради установления *нового, абсолютного* типа монаршей власти в объединённом государстве осуществлялась *старыми* междоусобными средствами и не снимала противоречий, а только разжигала их. Потому сценический и литературный образ Ричарда III стал символическим эпилогом исторической комедии, в которой западноевропейское рыцарство прошло долгий путь от идеально-возвышенных паладинов до гротескно уродливых тиранов. Закономерным снятием этой истории могло быть только упразднение дворянских вольностей и установление абсолютной монархии. Ричарду эта миссия не удалась, его урок был взят на вооружение ближайшими противниками. Так мучительно осуществлялось расставание с ренессансной эпохой и обозначался переход к новой, не менее драматичной, странице истории:

Права рыцаря – центробежное начало средневекового государства – те самые, во имя которых (формально во имя рыцарской „чести“) поднимается феодальный мятеж (в глазах абсолютизма уже „бесчестный“), выступают... уже как чисто *личные* права, как право *личности*, как естественные вожеления человеческой природы, как „бесчестная“ (но ещё в „рыцарском“ облике) чувственность, принци-

пиально аполитичная, хаотически своевольная, антигосударственная индивидуальная „природа“. Из распада сословных связей внизу ...в бесчестно преступном Ричарде III, порой также близком к шуту... комически *рождается внесловная личность* Нового времени и – в цинически аморальной форме³⁷.

References

- Ackroyd P.: *Shekspir. Biografiya*. Perevod s anglijskogo O. Kel'bert. Moskva 2009 (Акройд П.: *Шекспир. Биография*. Перевод с английского О. Кельберт. Москва 2009).
- Bernard André: *Istoriya zhizni i dostizhenij Genriha VII*. Perevod s latyni i vstupitel'naya stat'ya D. V. Kiryuhina. Moskva, Sankt-Peterburg 2017 (Бернар, Андре: *История жизни и достижений Генриха VII*. Перевод с латыни и вступительная статья Д. В. Кирюхина. Москва, Санкт-Петербург 2017).
- Braun E. D.: *Vojny Roz v „Istorii Richarda III“ Tomasa Mora*, „Vestnik RGGU“ Seriya: Literaturovedenie. YAzykoznanie. Kul'turologiya. Moskva 2018, № 10, s.54-65 (Браун Е. Д.: *Войны Роз в „Истории Ричарда III“ Томаса Мора*, „Вестник РГГУ“ Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. Москва 2018, № 10, с.54-65).
- Braun E. D.: *Vojny Roz: Istoriya. Mifologiya. Istoriografiya*. Moskva, Sankt-Peterburg 2016 (Браун Е. Д.: *Войны Роз: История. Мифология. Историография*. Москва, Санкт-Петербург 2016).
- Buzina T. V.: *Skvoznoj syuzhet Shekspira*, „Vestnik Tambovskogo universiteta“, Seriya: Gumanitarnye nauki. Tambov 2010, Vypusk 2 (82), s.167-168 (Бузина Т. В.: *Сквозной сюжет Шекспира*, „Вестник Тамбовского университета“, Серия: Гуманитарные науки. Тамбов 2010, Выпуск 2 (82), с.167-168).
- Castiglione Baldassare: *O pridvornom*. Perevod s ital'yanskogo O. Kudryavceva, v: *Estetika Renessansa: antologiya: v 2 tomah*. Sostavitel' i nauchnyj redaktor V. P. Shestakov. Moskva 1981, T. 1, s.343-361 (Кастильоне Бальгассаре: *О придворном*. Перевод с итальянского О. Кудрявцева, в: *Эстетика Ренессанса: антология: в 2 томах*. Составитель и научный редактор В. П. Шестаков. Москва 1981, Т. 1, с.343-361).

³⁷ Л. Пинский: *Магистральный сюжет: Ф. Вийон, В. Шекспир, Б. Грасиан, В. Скотт*. Москва 1989, с.137.

- Frolova V. S.: *Platonizm u Shekspira*, „Problemy sovremennogo obrazovaniya“, 2016, № 3, s.31-38 (Фролова В. С.: *Платонизм у Шекспира*, „Проблемы современного образования“, 2016, № 3, с.31-38).
- Golosovker YA. E.: *Imaginativnyj Absolyut. Chast' 2. Logika Antichnogo mifa*, v: YA. E. Golosovker: Izbrannoe. Logika mifa. Moskva 2010, s.99-171 (Голосовкер Я. Э.: *Имагинативный Абсолют. Часть 2. Логика Античного мифа*, в: Голосовкер Я. Э.: *Избранное. Логика мифа*. Москва 2010, с.99-171).
- Ismail A. M.: *Shakespeare's Machiavellianism from Richard III to Richard III*, „Journal of Raparin University“, Vol. 4, No. 13 (December 2017), p.37-48.
- More Thomas: *Istoriya korolya Richarda III (neokonchennaya)*. Perevod s anglijskogo i latyni M. L. Gasparova i E. V. Kuznecova, v: T. Mor: Utopiya. Epigrammy. Istoriya Richarda III. Moskva 1998, s. 235-303 (Мор Т.: *История короля Ричарда III (неоконченная)*. Перевод с английского и латыни М. Л. Гаспарова и Е. В. Кузнецова, в: Т. Мор: *Утопия. Эпиграммы. История Ричарда III*. Москва 1998, с.235-303).
- Osinovskij I. N.: *Tomas Mor: utopicheskij kommunizm, gumanizm, reformaciya*. Moskva 1978 (Осиновский И. Н.: *Томас Мор: утопический коммунизм, гуманизм, реформация*. Москва 1978).
- Pinskij L. E.: *Shekspir*. Moskva 1971 (Пинский Л. Е.: *Шекспир*. Москва 1971).
- Pinskij L.: *Magistral'nyj syuzhet: F. Vijon, V. Shekspir, B. Grasian, V. Skott*. Moskva 1989 (Пинский Л.: *Магистральный сюжет: Ф. Вийон, В. Шекспир, Б. Грасиан, В. Скотт*. Москва 1989),
- Plato: *Fedr*, perevod A. N. Egunova, v: Platon: *Sobranie sochinenij v 4 tomah*, Tom vtoroj. Obshchaya redakciya red. A. F. Loseva, V. F. Asmusa, A. A. Taхо-Godi; Primech. A. F. Loseva i A. A. Taхо-Godi; Perevod s drevnegrecheskogo. Moskva 1993, s.135-191 (Платон: *Федр*, перевод А. Н. Егунова, в: Платон: *Собрание сочинений в 4 томах*, Том второй. Общая редакция ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи; Примеч. А. Ф. Лосева и А. А. Тахо-Годи; Перевод с древнегреческого. Москва 1993, с.135-191).
- Plato: *Fedr*, v Perevod s drevnegrecheskogo S. A. Zhebelyova, v: *Polnoe sobranie tvorenij Platona v 15 tomah*. Novyj perevod pod redakciej S. A. Zhebeleva, L. P. Karsavina, E. L. Radlova, tom pyatyj. Peterburg 1922, s.85-173 (Платон: *Федр*, в Перевод с древнегреческого С. А. Жебелёва, в: *Полное собрание творений Платона в 15 томах*. Новый

- перевод под редакцией С. А. Жебелева, Л. П. Карсавина, Э. Л. Радлова, том пятый. Петербург 1922, с.85-173).
- Plato: *Pir*, perevod s drevnegrecheskogo S. A. Zhebelyova, v: *Polnoe sobranie tvorenij Platona v 15 tomah*. Novyj perevod pod redakcij S. A. Zhebeleva, L. P. Karsavina, E. L. Radlova, tom pyatyj. Peterburg 1922, с.1-84. (Платон: *Пир*, перевод с древнегреческого С. А. Жебелёва, в: *Полное собрание творений Платона в 15 томах*. Новый перевод под редакцией С. А. Жебелева, Л. П. Карсавина, Э. Л. Радлова, том пятый. Петербург 1922, с.1-84).
- Rous John: *History of the Kings of England*, in: A. Hanham: *Richard III and his Early Historians, 1483-1535*. Oxford 1975, p.118-124.
- Sapronov P. A.: *Vlast' kak metafizicheskaya i istoricheskaya real'nost'*. Sankt-Peterburg 2001 (Сапронов П. А.: *Власть как метафизическая и историческая реальность*. Санкт-Петербург 2001).
- Shakespeare William: *King Richard III*, I, 1, in: *The Complete Works of William Shakespeare*. Oxford 1994, p.98-138.
- Shakespeare William: *Macbeth*, II, 2, in: *The Complete Works of William Shakespeare*. Oxford 1994, p.858-884.
- The Poems of Shakespeare*. Edited with an Introduction and Notes by George Wyndham. London 1898.

НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВА

Университет Тюбинген

ORCID 0000-0001-8905-837X

e-mail: nadja.grigorieva@gmail.com

**АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ЛИТЕРАТУРЕ:
ДОСТОЕВСКИЙ, ВАГИНОВ, ЗОЩЕНКО**

**ANTHROPOLOGICAL EXPERIMENT IN LITERATURE:
DOSTOEVSKIJ, VAGINOV, ZOSHCHENKO**

Abstract

The article examines anthropological experiment as literary praxis of Russian novels in various epochs from realism to the late avant-garde. The author investigates how writers tried to substitute anthropology with literature in *Besy* (F. Dostoevskij), *Trudy i dni Svistonova* (K. Vaginov) and in *Pered voshodom solnca* (M. Zoshchenko). The author concludes, that Dostoevsky turned his heroes into test subjects and put them in extreme situations; Vaginov portrayed a writer who conducted experiments on people in order to “transfer” them to the “afterlife” of literature; Zoshchenko created a text in which he recorded an experiment on himself and disproved psychoanalysis.

Keywords: anthropology, experiment, realism, avant-garde, metafiction, psychoanalysis, confession

Термин „мысленный эксперимент“ впервые ввел Эрнст Мах¹, наметив в 1897 году аналогию между литератором и экспериментатором, лишь воображающим то, что может случиться при определен-

¹ Историю понятия „эксперимент“ в европейской литературе можно найти в работах немецкого исследователя Михаэля Гампера. См. к примеру: Gampfer M.: *Dichtung als „Versuch“*. *Literatur zwischen Experiment und Essay*, „Zeitschrift für Germanistik“ 2007, XVII, 3, S.593-611; Гампер М.: *Эксперимент и литература: историко-научная перспектива*, в: „Новое литературное обозрение“ 2015, № 4 (134), с.221-234.

ных условиях². Однако отождествление фикционального текста с „чрезвычайным положением“ экспериментальной ситуации³ возникает еще до Маха. В 1880 г. Эмиль Золя ввел понятие „экспериментального романа“, опираясь на различие между наблюдением и экспериментом, приведенное Клодом Бернаром в его физиологии⁴. Писательская установка Золя уходила корнями не только в физиологические опыты, но и в литературно-антропологический эксперимент, который довольно рано стал темой фикциональных текстов⁵. В европейской литературе существовала богатая традиция опытов над человеком, начиная с романтизма. *Франкенштейн* Мэри Шелли (1818) и *Войцек*⁶ Георга Бюхнера (1836, опубликован впервые в 1879) – яркие примеры того, как писательское воображение расправляется

² „Прожектер, фантазер, писатель романов, поэт социальных или технических утопий – все экспериментируют в уме. Но то же самое делают солидный купец, серьезный изобретатель или исследователь. Все они представляют себе известные условия и с этим представлением связывают ожидание, предположение известных последствий: они делают умственный опыт“ [Мах Э.: *Познание и заблуждение. Очерки по психологии исследования*. Москва 2003, с.194].

³ В *Новой философской энциклопедии* Анатолий Ахутин определяет эксперимент как своего рода „Ausnahmезustand“: „ЭКСПЕРИМЕНТ (лат. experimentum – проба, опыт) – род опыта, имеющего познавательный, целенаправленно исследовательский, методический характер, который проводится в специально заданных, воспроизводимых условиях путем их контролируемого изменения. Решающее значение в эксперименте имеет исследование испытуемого в „стесненных“ (Ф. Бэкон) – предельных, пограничных, критических – состояниях“ [Ахутин А.В.: *Эксперимент*, в: *Новая философская энциклопедия*. В 4 томах, том 4. Москва 2010, с.425]. Ахутин предлагает считать мышление Нового времени „экспериментирующим мышлением“ как в науке, так и вне ее, ссылаясь на „замечание А. Эйнштейна об экспериментальном исследовании человека в романах Ф. Достоевского“.

⁴ „...Романист является и наблюдателем и экспериментатором. В качестве наблюдателя он изображает факты такими, какими он наблюдал их, устанавливает отправную точку, находит твердую почву, на которой будут действовать его персонажи и разворачиваться события. Затем он становится экспериментатором и производит эксперимент – то есть приводит в движение действующие лица в рамках того или иного произведения, показывая, что последовательность событий в нем будет именно такая, какую требует логика изучаемых явлений“ [Золя Э.: *Экспериментальный роман*, в: Золя Э. *Собрание сочинений в 26 томах. Том 24*. Москва 1966, с.244].

⁵ Этот тип эксперимента описывает немецкий исследователь Никлас Петес [Petes N.: *Versuchsobjekt Mensch. Gedankenexperimente und Fallgeschichten als Erzählformen des Menschenversuchs*, in: M. Gamper (Hg.): *Experiment und Literatur I. Themen, Methoden, Theorien*. Göttingen 2010, S.361-383].

⁶ Характерно, что сам Бюхнер был ученым-экспериментатором – его ранняя гибель в 23 года, по одной из версий, произошла от того, что он заразился тифом от препаратов, которые использовал в своих научных опытах.

с фигурой человека, трансформируя ее на разные лады. Если во *Франкенштейне* предметом изображения служит фантастический опыт по созданию нового, небывалого существа, несущего гибель людям, то в *Войцেকে* ставятся эксперименты над простым, рядовым солдатом⁷, который, будучи доведен до отчаяния, оказывается способен к убийству не на войне, а в повседневности. Как легко заметить, эти тексты объединяет негативная трактовка эксперимента над человеком: подопытный объект, подвергнутый физиологическим и иным воздействиям, способен разрушить человеческий мир. Подобные „пробы“ доказывают, что человек есть „самое опасное в природе явление, оно побивает зверя, всю, одним словом, органическую культуру и неорганическую“, как писал Казимир Малевич⁸.

В России экспериментальная литературная антропология выходит на новую стадию развития в текстах Достоевского, с самого начала ориентировавшего свое творчество на создание пограничных ситуаций, в которых его герои трансформировались не физиологически, а духовно. Достоевский не преследовал цель беллетризовать научное знание: он наделил романский жанр особой привилегией в познании мира и человека. Эксперимент над человеком проводит у Достоевского не только автор, ставящий своих героев в исключительные положения, но и сами герои, занятые испытанием своих ближних.

Вслед за Достоевским традицию антропологического эксперимента в литературе продолжили и другие русские писатели. В этой статье я остановлюсь на трех русских романах, описывающих опыты над человеком: на *Бесах* Достоевского, *Трудах и днях Свистонова* Константина Вагинова и *Перед восходом солнца* Михаила Зощенко.

„Чудовищные уклонения и эксперименты“: роман *Бесы*

Достоевский не корректировал науку и не соревновался с ней⁹: он ставил под сомнение саму идею (псевдо)научного опыта над че-

⁷ В дальнейшем традиция фантастических метаморфоз человеческой природы была подхвачена в символистской литературе – например, в *Острове доктора Моро* Герберта Уэллса (1896).

⁸ Малевич К.: „Человек самое опасное в природе явление...“, в: Малевич К.: *Черный квадрат*. Санкт-Петербург 2008, с.219.

⁹ Некий ответ на экспериментальный роман Золя, возможно, содержался в последнем романе Достоевского, но не в *Бесах*: „В своем последнем романе *Братья Карамазовы* Достоевский проводит антинигилистический, антипо-

ловеком, в его произведениях подвергалось критике экспериментирующее сознание как таковое.

К работе над романом *Бесы* Достоевский приступил в 1870-м году, находясь в Дрездене. Начатый вдалеке от России, роман был откликом на деятельность русских революционеров-нигилистов вообще и на нечаевское дело в частности. *Бесы* отличаются тем, что их автор не только экспериментирует над героями, но и показывает, как персонажи ставят эксперименты над другими персонажами. Эксперимент человека над человеком, по Достоевскому, присущ почти любому из рода homo. Разница между людьми заключается в том, какого рода эксперименты они проводят и насколько безопасны их опыты для подопытных жертв.

Антропологические опыты, которые проводятся по ходу повествования в *Бесах*, несмотря на их разнообразие, в конечном итоге сводятся к двум типам: 1) эксперимент на самих себе и 2) эксперимент-провокация. Остановлюсь на этом подробнее.

Эксперимент на самих себе производят в романе революционно настроенные молодые люди, желающие познать человека в предельно униженном состоянии. Иван Шатов, Алексей Кириллов и Николай Ставрогин отправляются на эмигрантском пароходе в Америку, „чтобы испробовать на себе жизнь американского рабочего и таким образом личным опытом проверить на себе состояние человека в самом тяжелом его общественном положении“¹⁰. Достоевский дает понять, что эксперимент провалился: Ставрогин отказался от замысла, а остальные двое заболели от непосильных тягот и были вынуждены уехать обратно в Россию. Таким образом, результаты опыта были ничтожны, хотя герои и получили в поездке некое знание, сформировавшее их мировоззрение. Это знание не имело отношения к жизни американских рабочих и вообще не имело научного характера,

зитивистский эксперимент. ... Достоевский создает фиктивный мир, отравленный биологической идеей, с целью дать литературный ответ на фантазмагорию наследственности у Золя. При этом он перенимает структуру и нарративную логику экспериментального романа Золя, чтобы отстоять тезис, противоположный позитивистскому детерминизму и утверждающий преимущество свободной воли“ [Николози Р.: *Эксперименты с экспериментами: Эмиль Золя и русский натурализм*, „Новое литературное обозрение“ 2015, № 4 (134), с.213].

¹⁰ Достоевский Ф.М.: *Полное собрание сочинений в 30 томах*. Том 10. Ленинград 1974, с.111.

скорее напротив: оно было сообщено Шатову и Кириллову¹¹ их „учителем“, Николаем Ставрогиным, как откровение.

Еще одна форма эксперимента в романе нацелена на выяснение т.н. „правды“, скрываемой действующими лицами. В *Бесах* царит атмосфера проверки: герои стремятся поставить своих ближних в исключительные ситуации, спровоцировать своих собеседников, чтобы те „проговорились“. Рассказчик в *Бесах* подчинен атмосфере всеобщей проверки, ведет хронику этого коллективного дознания и сам становится его участником – например, по просьбе Лизы Дроздовой, он идет исследовать семейство Лебядкина¹².

Сама Лиза не чурается подобных провокаций – например, она зазывает в гости Степана Трофимовича, „единственно чтобы кое-что выведать“¹³. Прирожденным провокатором оказывается Липутин – он сталкивает людей между собой, чтобы заставить их проболтаться. Так, Липутин приходит в дом к Степану Трофимовичу вместе с Кирилловым, чтобы разведать тайные замыслы того и другого.

Однако истина, раскрываемая в специально созданной экспериментальной ситуации путем сознательной провокации персонажей, оказывается иррелевантной в художественном мире романа-трагедии. Правда нисходит на героев подобно откровению, она самоочевидна:

– ...Видно, правда наружу вышла в эту неделю.

– Какая правда наружу вышла в эту неделю? Слушай, Прасковья Ивановна, не раздражай ты меня, объяснись сию минуту, прошу тебя честью: какая правда наружу вышла и что ты под этим подразумеваешь?

– Да вот она, вся-то правда сидит! – указала вдруг Прасковья Ивановна пальцем на Марию Тимофеевну, с тою отчаянною решимо-

¹¹ Характерно, что Кириллов – инженер, собирающийся строить мост, то есть человек научного сознания и связанный по профессии с экспериментами над неживой материей, сам становится жертвой антропологического эксперимента и в то же время по ходу романа он пытается пресечь чужие попытки экспериментировать над людьми.

¹² Эта затея превращается в череду провокаций, выстраивающихся по кумулятивному принципу: рассказчик прибегает к помощи Шатова, который приводит его к Лебядкиной и пытается спровоцировать ее на откровенность, а затем, уже скрывшись за дверью собственной квартиры, Шатов пытается вызвать на откровенность ее брата – пьяного штабс-капитана Лебядкина, барабанящего кулаками в дверь.

¹³ Ibidem, с.96.

стию, которая уже не заботится о последствиях, только чтобы теперь поразить¹⁴.

Другой тип антропологического опыта-провокации в *Бесах* связан не столько с постижением истины, сколько с получением психологического удовлетворения от человеческого унижения. Некоторые из подобных опытов, производимые представителями старшего поколения „бесов“, кажутся совершенно невинными, как, например, поступок писателя Кармазинова, решившего испытать героя-рассказчика Антона Лаврентьевича Г-ва, не могущего скрыть восторг при виде любимого писателя. Повстречав Г-ва на улице и заметив его восхищение и готовность услужить, Кармазинов

вдруг уронил крошечный сак, который держал в своей левой руке. Впрочем, это был не сак, а какая-то коробочка, или, вернее, какой-то портфельчик, или еще лучше, ридикюльчик, в роде старинных дамских ридикюлей, впрочем не знаю, что это было, но знаю только, что я, кажется, бросился его поднимать. ... Хитрец тотчас же извлек из обстоятельства все, что ему можно было извлечь.

- Не беспокойтесь, я сам, - очаровательно проговорил он, то-есть когда уже вполне заметил, что я не подниму ему ридикюль, поднял его, как будто предупреждая меня, кивнул еще раз головой и отправился своею дорогой, оставив меня в дураках. Было все равно, как бы я сам поднял. Минут с пять я считал себя вполне и навеки опозоренным¹⁵.

Человек, спровоцировавший Другого на некий поступок и с любопытством наблюдающий за его реакцией, показан здесь во всей своей неприглядности: он „хитрец“, он „следит“ за происходящим „со скверною улыбкой“ и приводит жертву к осознанию позора, в который она ввергается. Позиция психолога-экспериментатора дает привилегированное положение наблюдателю, который обладает властью над ситуацией и над своим ближним, но эта позиция осуждается как аморальная.

Невинные бытовые опыты „великого писателя“, чьим прототипом был, как известно, Тургенев¹⁶, оттенены в романе чудовищ-

¹⁴ Ibidem, с.132.

¹⁵ Ibidem, с. 71.

¹⁶ См. об этом, к примеру: Никольский Ю.: *Тургенев и Достоевский (История одной вражды)*. София 1921, с.57-82.

ными экспериментами, проводимыми молодым поколением¹⁷. Характер этих опытов описан Достоевским в черновиках 1870 года:

Необъятная сила непосредственная, ищущая покою, волнующаяся до страдания и с радостью бросающаяся — во время исканий и странствий — в чудовищные уклонения и эксперименты, до тех пор пока не установится на такой сильной идее, которая вполне пропорциональна их непосредственной животной силе¹⁸.

Вместо „мысленных экспериментов“ и мелкого притворства молодые „бесы“ ставят вполне реальные опыты, крайне опасные для жизни и душевного здоровья окружающих. Эти эксперименты не провоцируют персонажа выговорить истину о себе, а заставляют его коренным образом поменять свое поведение или даже идентичность: подобные опыты осуществляют в романе два героя-provokatora — Николай Ставрогин и Петр Верховенский.

В случае Ставрогина провокационная деятельность легендарна, отнесена в прошлое: она описана в „исповеди“, входит в предысторию романного действия как случай белой горячки или дана в воспоминаниях об обращении „жертвы“ в новую „веру“. Ставрогин ставит эксперимент на службу собственному „я“, превыше всего расценивая чувство психического самоудовлетворения. В его опытах над людьми характерна прежде всего спонтанность, непредсказуемость:

Я оставался один с их дочерью, думаю, лет четырнадцати, совсем ребенком на вид. Ее звали Матрешей. Мать ее любила, но часто была и по их привычке ужасно кричала на нее по-бабьи. Эта девочка мне прислуживала и убирала у меня за ширмами. ... Однажды у меня со стола пропал перочинный ножик, который мне вовсе был не нужен

¹⁷ Представители „молодежи“, по сюжету, писать не умеют, но мечтают быть писателями. Петр Верховенский — автор прокламаций „с помарками на каждой строке“ [Ibidem, с.423] и стихотворения „Светлая личность“, охарактеризованного Липутиным как „самые дряннейшие стишонки, какие только могут быть“ (Ibidem). Исповедь Николая Ставрогина написана корявым языком, свидетельствуя об аграфии автора, который интересуется литературой и в свободную минуту читает книгу *Женщины Бальзака*. Характерно, что исповедь Ставрогина, напечатанная в тайной типографии за границей, по виду напоминает революционное воззвание: „листочки с первого взгляда очень походили на прокламацию“ [Достоевский Ф.М.: *Полное собрание сочинений в 30 томах*. Том 11. Ленинград 1974, с.12]. Революционность — общая черта младших персонажей *Бесов*.

¹⁸ Достоевский Ф.М.: *Полное собрание сочинений в 30 томах*. Том 9. Ленинград 1974, с.128.

и валялся так. Я сказал хозяйке, никак не думая о том, что она высечет дочь. ... В ту самую минуту, когда хозяйка бросилась к венику, чтобы надергать розог, я нашел ножик на моей кровати, куда он как-нибудь упал со стола. Мне тотчас пришло в голову не объявлять, для того чтоб ее высекли. Решился я мгновенно; в такие минуты у меня всегда прерывается дыхание¹⁹.

Ставрогин – по природе своей идеолог²⁰, но для него важна не столько идея, которую он высказывает, сколько опыт по соращению и пересозданию человека с помощью идеи. Эту его особенность констатирует Шатов:

в то же самое время, когда вы насаждали в моем сердце бога и родину, — в то же самое время, даже, может быть, в те же самые дни, вы отравили сердце этого несчастного, этого маньяка, Кириллова, ядом... Вы утверждали в нем ложь и клевету и довели разум его до иступления... Подите взгляните на него теперь, это ваше создание...²¹.

Ставрогин выступает как своего рода „инженер человеческих душ“, создавая своих „Франкенштейнов“ не хирургическим способом, а путем соращения. Еще одно „создание“ соратителя – безумная для героев романа Мария Лебядкина, на которой он женился, уверив ее в своей любви, и тем самым усугубив ее болезненность. С точки зрения Кириллова, „это был новый этюд пресыщенного человека с целью узнать, до чего можно довести сумасшедшую калеку“²². Ставрогин показан как психолог, злоупотребивший своим знанием людей и получающий удовольствие от негативных экспериментов над человеческой психикой.

В отличие от Ставрогина, Верховенский, по сюжету, экспериментирует не в прошлом, а здесь и сейчас. В романе этот герой назван имитатором Ставрогина²³. Действительно, подобно Ставрогину, Верховенский-младший как бы заново творит людей. Но если Ставрогин креативен из любопытства и переиначивает человека, чтобы полу-

¹⁹ Достоевский Ф.М.: *Полное собрание сочинений в 30 томах*. Том 11. Ленинград 1974, с.15.

²⁰ Об „идеях“ у Ставрогина см: Смирнов И.: *Психодиахронология*. Москва 1994, с.125.

²¹ Достоевский Ф.М.: *Полное собрание сочинений в 30 томах*. Том 10. Ленинград 1974, с.197.

²² Ibidem, с.150.

²³ „Я на обезьяну мою смеюсь“ [Ibidem, с.405], - говорит Верховенскому Ставрогин, когда тот его пародирует.

читать удовлетворение от собственной силы, то Верховенский преследует революционную цель: для этого героя характерен эксперимент-провокация, нацеленный не на выяснение истины и не на реализацию эгоистического интереса, а на трансформацию Другого, в пределе ведущую к уничтожению Другого ради „общего дела“. Будучи аморальным, подобный эксперимент компрометирует революционное жизнестроительство²⁴.

Предела такой эксперимент-уничтожение достигает в убийстве Шатова, которое задумывается Верховенским, чтобы скрепить революционную „пятерку“ „кровью“. Заимствовав сюжет с „пятеркой“ из дела Сергея Нечаева по убийству студента Ивана Иванова, осуществленного в 1869 г. революционным кружком „Народная расправа“, Достоевский показывает в романе, что участники преступления не выдерживают эксперимент: убийство Другого оборачивается для многих из них безумием²⁵, психосоматической болезнью, распадом личности. После всех этих нравственных мучений правительственное наказание воспринимается бывшими бунтовщиками как своего рода отпущение грехов.

Надо признать, что революционное, экспериментирующее сознание свойственно, в первую очередь, самому Достоевскому, однако писателя волнует не социальная революция, а антропологическая.

²⁴ Следует подчеркнуть, что Верховенский не только экспериментатор, но и omnipresentный наблюдатель, чьи методы наблюдения порождены желанием всевидения:

— Третьего дня в четвертом часу ночи вы, Толкаченко, подговаривали Фомку Завьялова в „Незабудке“. ...

— Я говорил шепотом и в углу, ему на ухо, как могли вы узнать? — сообразил вдруг Толкаченко.

— Я там сидел под столом. Не беспокойтесь, господа, я все ваши шаги знаю. Вы ехидно улыбаются, господин Липутин? А я знаю, например, что вы четвертого дня исщипали вашу супругу, в полночь, в вашей спальне, ложась спать.

Липутин разинул рот и побледнел [Ibidem, с.418].

Выведанные таким образом сведения Верховенский использует для шантажа.

²⁵ „Лямшин закричал не человеческим, а каким-то звериным голосом. Всё крепче и крепче, с судорожным порывом, сжимая сзади руками Виргинского, он визжал без умолку и без перерыва, выпучив на всех глаза и чрезвычайно раскрыв свой рот, а ногами мелко топтал по земле, точно выбивая по ней барабанную дробь. Виргинский до того испугался, что сам закричал, как безумный, и в каком-то остервенении, до того злобном, что от Виргинского и предположить нельзя было, начал дергаться из рук Лямшина, царапая и колотя его сколько мог достать сзади руками“ [Ibidem, с.461].

Антропологическая революция ведет к тому, что человек становится экспериментатором, осуществляющим насилие над бытием²⁶. По Достоевскому, скомпрометирована любая креативность, превращающая живой мир в поле мысленных экспериментов человека²⁷. В отличие от Хайдеггера, Достоевский озабочен не спасением от бытия, а спасением бытия.

***Труды и дни Свистонова* Константина Вагинова как метаэксперимент**

Сам жанр метаромана, в котором написано произведение Вагинова *Труды и дни Свистонова*, следовало бы трактовать как экспериментальный: автор подобного текста наблюдает, какое произведение создаст подопытный герой-писатель и что произойдет с ним в процессе письма. Эту черту жанра наиболее полно выразила Мариэтта Шагинян в своем романе *К. и К.* (1924-1928, вышел впервые в журнале „Звезда“ 1929, № 2, 3). Писательский труд представлен в тексте Шагинян как работа детектива: авторы, работающие в разных жанрах, пытаются средствами литературы восстановить причины загадочного события. При этом писателей сажают под арест и держат их на „санаторном режиме“, чтобы контролировать их состояние во время письма. Суть эксперимента в том, чтобы проверить физические данные пишущих субъектов до и после написания текста. Оказывается, что в зависимости от жанра, избранного сочинителем, изменяется вес его тела. Однако эти изменения слишком незначительны²⁸: возможно, Шагинян пародирует экспериментальный под-

²⁶ Николай Бердяев, применивший к творчеству Достоевского понятие „антропологического эксперимента“ [Бердяев Н.А.: *Откровение о человеке в творчестве Достоевского*, в: *Русская мысль*. 1918. Кн. 3-4, с.40], признавал за разрушающими бытие героями русского писателя т.н. „социальную мечтательность“: „Достоевский исследует, как безбрежная социальная мечтательность русских революционеров, ... ведет к истреблению бытия со всеми его богатствами, доводит до пределов небытия“ [Бердяев Н.А.: *Мирозерцание Достоевского*. Прага 1923, с.151].

²⁷ О литературе как о медиуме зла у Достоевского см.: Григорьева Н.Я.: *Человечное, бесчеловечное: радикальная антропология в философии, литературе и кино конца 1920-х–1950-х гг.* Санкт-Петербург 2012, с.475-482.

²⁸ „Вас, я надеюсь, устроили в обстановке, не нанесшей никакого ущерба вашему здоровью, и, по возможности, приблизили ваш режим к санаторному. Первым и последним орудием пытки, которое вы увидели, — я, товарищи, был в соседней комнате и не мог не заметить некоторого замешательства, проявленного вами при виде этого орудия, и нерешительности, с какой вы

ход к искусству. Литература высмеивает эксперимент, поставленный над ней.

В романе *Труды и дни Свистонова* физиология пишущего субъекта смещается на задний план, а на первый план выходят отношения автора с квазипотусторонним миром литературы. Писатель Свистонов, поначалу упражняющийся в переписывании газетных статей и антикварных изданий, постепенно погружается в „реальность“, начинает „переводить“ ее в литературу и в результате „окончательно“ переходит сам „в свое произведение“. Однако эксперимент автора-1, т.е. Вагинова, поставленный над автором-2, над вымышленным писателем Свистоновым, не исчерпывает сюжет романа: автор-2, в свою очередь, тоже ставит своих героев в исключительные положения, фиксируя полученные результаты на бумаге.

Труды и дни Свистонова отражает коллизии, разыгравшиеся после публикации первого романа Вагинова *Козлиная песнь*, в котором писатель позволил себе запечатлеть в образе искусствоведа Тептелкина некоторые черты литературоведа бахтинского круга Льва Пумпянского. Фактически Вагинов опирался на определенную традицию – на символистский жизненный эксперимент, подвергнувшийся литературной обработке²⁹. В своем втором романе Вагинов как бы ставит метаэксперимент, надстроенный над первым опытом „пе-

согласились испытать его действие, — единственным, повторяю, орудием пытки были обыкновенные докторские весы, на которых вас сейчас взвесили, — каюсь, по моей вине. Из любви к точности и ради личного спокойствия я хотел убедиться, что никто из вас не потерял в весе. Надеюсь, вы не станете сердиться на это маленькое проявление внимания к вам. Вот цифры — данные санатория „Красные Скалы за среду, то есть за два дня до ареста: профессор Казанков 62 килограмма — не совсем много для мужчины ваших лет. Товарищ Геллерс, у вас вес подростка — 51,1. Поэт перегнал вас обоих. Его вес 68,8. О товарище Иваницком данных нет. Теперь потрудитесь взглянуть на эту таблицу: девять дней спустя, после ареста и заключения в исправдоме, цифры говорят следующее: вес профессора — 61,4 — убыль, которую я объясняю напряжением от несвойственной ему работы, вызвавшей значительную затрату фосфора. Ирина Геллерс — 51,9 и поэт Эль 68,9. Мы имеем, таким образом, значительную прибавку в весе у товарища Геллерс и маленькую у поэта“ [Шагинян М.С.: *КИК. Романкомплекс*, в: Шагинян М.С.: *Собрание сочинений в 6 томах. Том 2. Москва 1956, с.531-532*].

²⁹ Такой жизненный эксперимент провел, например, Валерий Брюсов, перенесший в роман *Огненный ангел* любовный треугольник, в котором участвовали он сам, Нина Петровская и Андрей Белый (см. подробно об этом: Гречишкин С.С., Лавров А.В.: *Биографические источники романа Брюсова „Огненный ангел“*, в: *Символисты вблизи. Статьи, публикации*. Санкт-Петербург 2004, с.6-62).

ревода“ жизни в литературу, и делает героем романа себя как писателя, похищающего (описывающего) чужие „души“. Экспериментом оказывается сама постановка эксперимента. „Первичный автор“ ставит эксперимент над „вторичным“, пользуясь терминологией позднего Бахтина³⁰.

С самого начала романа подопытный, „вторичный“ автор Свистонов чувствует себя завоевателем мира, хотя его завоевания ограничены книжной фантазией: „Свистонов сел на постели: „И Париж прихватим, ... Завтра надо пойти к букинистам“³¹. Геополитическое овладение миром приравнено к букинистическому. Но постепенно выясняется, что писатель у Вагинова отнюдь не ограничивается сведениями, почерпнутыми из книг, – он всерьез охотится за „душами“ своих знакомых и ставит людей в экспериментальные ситуации, чтобы постигнуть тайные пружины их обыденных действий.

Эксперименты Свистонова имеют косвенное отношение к Золя: в своем эссе *Экспериментальный роман* Золя пишет, что „романист является и наблюдателем и экспериментатором“. В *Трудах и днях Свистонова* Вагинов пользуется термином „романист-экспериментатор“ во вставной новелле, представленной как газетная вырезка:

– Прежде чем написать что-либо, нужно самому пережить описываемое явление.

Этот принцип исповедует... портной Дмитрий Щелин. ... Два месяца тому назад Щелину потребовалось закончить главу его романа покушением на самоубийство героя, отравившегося ядом. С этой целью Щелин ... достал яд, принял его, а затем лишился сознания. С квартиры Щелина доставили в больницу Марии Магдалины. Здесь он провел около двух месяцев. Поправившись, Щелин опять стал продолжать "роман". Теперь герою потребовалось испытать ощущение самоубийцы, пытавшегося утонуть. В два часа ночи на сегодня Щелин бросился с Тучкова моста в Малую Неву. ... В бессознательном состоянии "романист-экспериментатор" был доставлен в ту же боль-

³⁰ „Первичный (не созданный) и вторичный автор (образ автора, созданный первичным автором) ... Первичный автор не может быть образом: он ускользает из всякого образного представления. Когда мы стараемся образно представить себе первичного автора, то мы сами создаем его образ, то есть сами становимся первичным автором этого образа ... Первичный автор облекается в молчание...“ [Бахтин М.М.: *Рабочие записки 60-х – начала 70-х годов*, в: Бахтин М.М.: *Собрание сочинений в 7 томах, том 6*. Москва 2002, с.412].

³¹ Вагинов К.: *Романы*. Москва 1991, с.166.

ницу Марии Магдалины. Утром он был приведен в сознание. ... Теперь нужно испытать, как бросаются под поезд. ... Положение романиста-портного – тяжелое³².

Знаменательно, что писатель Свистонов отмежевывается от подобного „автоэксперимента“: „новелла уколола его как неотчетливое оскорбление“. Вместо того, чтобы проживать самому вымышленные ситуации, он выискивает критические положения, в которых оказываются другие люди, и затем записывает свои наблюдения: „поглядит, поглядит и опишет“³³. Методы сбора материала охарактеризованы уже в первой главе романа Вагинова, где герою-писателю снится охота за персонажами:

Видит Свистонов, что он, Свистонов, уже днем за всеми, как за диковинной дичью, гонится; то нагнется и в подвал, точно охотник в волчью яму, заглянет – а нет ли там человека, то в садике посидит и с читающим газету гражданином поговорит, то остановит на улице ребенка и об его родителях, давая конфетки, начнет расспрашивать, то в мелочную лавочку тихо зайдет, осмотрит и с торговцем о политике побеседует, то, прикинувшись человеком сострадательным, нищему гривенник подаст и его враньем насладится³⁴.

Немаловажной частью свистоновского эксперимента служат опыты над читателями, которые должны опознать в литературном произведении копию своего мира. Тактику Свистонова можно назвать провокацией: писатель зазывает своего персонажа в гости и читает ему/ей свою прозу, что вызывает потрясение человека, узнающего в карикатурных фигурах себя и своих близких³⁵. Подобную тактику демонстрирует шестая глава романа под названием „Эксперимент

³² Ibidem, с.171.

³³ Ibidem, с.197.

³⁴ Ibidem, с.162.

³⁵ „...Заинтересовало Свистонова, какое впечатление произведет его роман на подростка и смогут ли вообще подростки читать его роман.

Пошел Свистонов в переднюю и принес свернутую в трубочку рукопись. Подумал, подумал и стал читать.

С первых строк Машеньке показалось, что она вступает в незнакомый мир, пустой, уродливый и зловещий; пустое пространство и беседующие фигуры, и среди этих беседующих фигур вдруг она узнала своего папашу.

На нем была старая просаленная шляпа, у него был огромный нос полишинеля...“ [Ibidem, с.250].

над Ией“; правда, Ия возмущенно отказывается слушать писателя еще до того, как он начал читать, и гордо, с достоинством уходит³⁶.

Совершенно другую реакцию на чтение Свистонова демонстрирует Иван Иванович Куку, ставший главной жертвой литературного „перевода“ жизни в искусство и появляющийся в романе автора-2 под фамилией Кукуреку:

Свистонов продолжал читать. Вот уже появился Кукуреку, и побледнел Куку. В кресло опустился и, раскрыв рот, до конца выслушал.

– Андрей Николаевич, да ведь это...

Иван Иванович после чтения бледный вышел на улицу. Он думал о том, что теперь он, совсем голый и беззащитный, противостоит смеющемуся над ним миру. Страх был на лице Ивана Ивановича и блуждала рассеянная извиняющаяся улыбка. ... Ему казалось, что все уже ясно видят его ничтожество³⁷.

Поступок Свистонова характеризуется в авторских дополнениях к печатному экземпляру романа³⁸ как „духовное убийство“:

Совершив духовное убийство, Свистонов был спокоен. „Это произошло согласно определенным законам, – думал он. – Куку был настоящий человек. Я поступил безнравственно, воспользовавшись

³⁶ „Довольная собой, но недовольная обстановкой и вещами Свистонова, она села на венецианский стул, принимая его за скверную подделку под мавританский стиль.

– Хотите, я вам прочту главу из моего романа? – спросил Свистонов.

Ия кивнула головой.

– Вчера я думал об одной героине, – продолжал Свистонов. – Я взял Матюринова "Мельмота Скитальца", Бальзака "Шагреновую кожу", Гофмана "Золотой горшок" и состряпал главу. Послушайте.

– Это возмутительно! – воскликнула Ия, – только в нашей некультурной стране можно писать таким образом. Это и я так сумею! Вообще, откровенно говоря, мне ваша проза не нравится, вы проглядели современность. Вы можете ответить, что я не понимаю ваших романов, но если я не понимаю, то кто же понимает, на какого же читателя вы рассчитываете?

Уходя от Свистонова, Ия чувствовала, что она себя нисколько не уронила, что она показала Свистонову, с кем он имеет дело“ [Ibidem, с.234-235].

³⁷ Ibidem, с.214.

³⁸ Как отмечают исследователи, черновых набросков романов Вагинова не сохранилось, и архивный материал, которым можно оперировать, относится к послепечатной редакции текста — к работе Вагинова над „Козлиной песней“ и „Трудами и днями Свистонова“ на полях уже изданных книг (см. подробно: Бреслер Д.: *„...Слезно умолял Свистонова разорвать рукопись“*: прагматика генетического досье романов Вагинова, „Новое литературное обозрение“ 2016, № 2, с.146).

им для моего романа. Во всяком случае, не следовало ему читать до окончательной отделки, до возведения его в тип. ... Поступок мой неэтичен, но Куку неожиданно явился ко мне на квартиру, у меня не было выхода. Это было все же невольное убийство³⁹.

Можно предположить, что антропологический эксперимент Свистонова отсылает не только к личному опыту Вагинова (столкнувшегося со скандалом после публикации *Козлиной песни* и рассорившегося с прототипом Тептелкина Пумпянским⁴⁰), но и к *Бесам* Достоевского. Писатель как „ловец душ“ сравнивается у Вагинова не с „ловцом человеков“ Христом, а с бесом: „Не много в мире настоящих ловцов душ. Нет ничего страшнее настоящего ловца. Они тихи, настоящие ловцы, они вежливы, ... у них, конечно, нет ни рожек, ни копытец“⁴¹. Кроме того, Свистонов ассоциируется попеременно то с Петром Верховенским, то с Николаем Ставрогиным, то с самим Достоевским. Во время работы Свистонова над романом его жена Леночка отдыхает в Старой Руссе, где Достоевский впервые поселился с семьей летом 1872 года, чтобы отдохнуть и подготовиться к завершению роман *Бесы*. Подобно Ставрогину, Свистонов не гнушается любовной связью с убогой, рассматривая эту связь как эксперимент: „Свистонов делал вид, что ухаживает за глухонемой. Ему интересно было, какие возникнут сплетни“⁴². Главным орудием писателя служит у Вагинова провокация, сродни революционной провокации Верховенского. Писатель манипулирует своими жертвами, терроризирует своего героя Куку и сравнивает свои квазимагические литературные действия с убийством. Подобно Верховенскому, Свистонов преследует свою жертву до конца, не считаясь с нормами морали⁴³. Как и *Бе-*

³⁹ Вагинов К.К.: *Полн. Собрание соч. в прозе*. Подгот. текста В.И. Эрля; вступ. ст. Т.Л. Никольской. Санкт-Петербург 1999, с.197.

⁴⁰ См. об этом в комментариях к роману: *Ibidem*, с.539.

⁴¹ Вагинов К.: *Романы*. Москва 1991, с.182.

⁴² *Ibidem*, с.192.

⁴³ По-видимому, в имени Ивана Ивановича Куку зашифровано имя жертвы Нечаева – студента Петровской академии Ивана Ивановича Иванова, критиковавшего провокации Нечаева и поплатившегося за это жизнью. Как верификацию этой интертекстуальной связи можно толковать присутствие в вагиновском тексте бывшего анархиста Иванова, который упрекает Свистонова в аморальности его литературной деятельности: „Писателем быть, - сказал Свистонов, - не особенно приятно. ... - Прежде всего не следует причинять горя людям, - заметил Иванов. – Конечно, - ответил Свистонов. - ... Какой прелестный человек Иван Иванович Куку!“ [*Ibidem*, с.203]. Можно было

сы, роман Вагинова отрицает ценность экспериментирующего сознания. Однако если в *Бесах* эксперименту противостояла „живая жизнь“, то в *Трудах и днях Свистонова* описывается распад человеческой культуры и неумолимый переход „жизни“, понимаемой как незначимый, неценный быт, в стадию литературной „кристаллизации“. Литература означает погребение жизни и самой себя – литератор Свистонов переходит в свое произведение, так и не обнаружив в быте бытие.

Эксперимент над собой: *Перед восходом солнца* Михаила Зощенко

Жестокий эксперимент над другими, показанный у Вагинова, не был единственной формой антропологического эксперимента в литературе позднего авангарда. Авторы середины 1920-х – конца 1950-х гг. экспериментировали зачастую и на самих себе. Однако это не были эксперименты по созданию новой биологической особи по примеру 1910-х – 1920-х гг., как у Александра Богданова. В 1930-е гг. на первый план выходит „внутренний опыт“, получаемый субъектом в процессе повседневной жизни. Подобные биографические ситуации могли быть столь же опасными, как и научные эксперименты. В качестве примера можно привести военные дневники Эрнста Юнгера, мистико-психоделические опыты Бориса Поплавского, Александра Введенского и Рене Домалья. Жорж Батай создал такую систему философствования, центром которой оказалась его собственная личность. Как писал Батай, „зияющая пустота“ и „открытая рана“ его жизни являются лучшим опровержением замкнутой философской системы Гегеля.

К автоэкспериментированию тяготел и советский писатель Михаил Зощенко, описавший опыт над самим собой в книге *Перед восходом солнца* (1943). Подобно Юнгеру, еще мальчиком составлявшему в окопах дневник, кавалер пяти орденов штабс-капитан Зощенко воскрешает в своей книге экзистенциально опасные ситуации Первой мировой войны, на которую он попал еще юношей. Подобно Батаю, в своих философских текстах опровергавшему философские авторитеты с помощью „внутреннего опыта“, Зощенко в своем психоаналитическом труде пытается показать, что его собственный „психоневроз“ служит противовесом к системе фрейдистского психоанализа.

бы привести и дальнейшие аллюзии на *Бесы* в *Трудах и днях Свистонова*, но это выходит за рамки данной работы.

Критикой психоаналитической теории Зощенко начал заниматься уже в конце 1920-х годов⁴⁴. Можно вспомнить рассказ *Медицинский случай* (1928), в котором доводится до абсурда теория отреагирования Фрейда и Брейера: девочку, потерявшую от испуга дар речи, лечат повторным испугом („Ну-те я ее сейчас обратно испугаю“⁴⁵) и, действительно, возвращают ей способность говорить, но при этом наносят новую травму:

...он тихонько подходит до нее и как ахнет ее по загривку.

Девчонка как с перепугу завизжит, как забьется.

И, знаете, заговорила.

Говорит и говорит, прямо удержу нету. ... Хотя взгляд у ней стал еще более беспокойный и такой вроде безумный. ... А девочка, действительно, заговорила. Действительно верно, она немного в уме свихнулась, немножко она такая стала придурковатая, но говорит, как пишет⁴⁶.

Примечательно, что если рассматривать этот „случай“ в общем корпусе текстов Зощенко, то ему найдется здесь „экспериментальное“ опровержение – история, в которой повторный испуг влияет только положительно. В рассказе *Сирень цветет* (1930) ретушер Володин несколько дней не может справиться с икотой, и с целью его излечения один „бывший интеллигент“ просит соизволения поставить над больным эксперимент:

Среди посетителей находился, между прочим, один такой бывший интеллигент, некто Абрамов, который заявил, что врач ... наделает таких делов, после которых уже больного навряд ли можно поправить. И что лучше пущай дозволит ему произвести опыт, который в самом корне подорвет это заболевание. ... Он сказал, что картина

⁴⁴ Интерес к психологии прослеживался у Зощенко уже в его ранних рассказах, а после публикации книги „Возвращенная молодость“ (1934) писатель был признан в психиатрических кругах Советской России. По словам писателя, его стал приглашать на свои „среды“ академик Иван Иванович Павлов. О психологическом фоне прозы Зощенко см. подробнее: фон Вирен-Гарчинская 1967. Исследовательница Вера фон Вирен выделяет в рассказах Зощенко 3 темы, связанные с психоанализом: „уже в рассказах 1926 -1928 гг. у Зощенко имеются следы серьезного и вдумчивого отношения к Фрейду. И лечение исповеданием — абреакция, и лечение путем восстановления в памяти того, что могло травмировать психику, и лечение путем повторного шока“ [фон Вирен-Гарчинская В.: *Михаил Зощенко — автор психоаналитических повестей*, в: Зощенко М.: *Перед восходом солнца*. New York, Baltimore 1967, с.7].

⁴⁵ Зощенко М.М.: *Собрание сочинений в 7 томах*. Том 2. Москва 2006, с.521.

⁴⁶ Ibidem, с.521.

заболевания ему слишком ясна. Что это есть неправильное движение организма. И что надо поскорее перебить это движение. Тем более, организм имеет, так сказать, свою инерцию и как заладит на одно, так прямо нет спасения. ... И это, дескать, необходимо лечить энергично, давая сильную встряску и другой, обратный толчок всему организму Он велел посадить больного на стул, а сам ... вышел на кухню, чтобы там начать свои научные приготовления.

Там он, с помощью брата милосердия, нацедил полное ведро холодной воды и, выбежав осторожно, на цыпочках из-за двери, вдруг с криком опрокинул всю эту воду на голову больному, который, мало чего соображая, беспечно сидел до этого на стуле, как мешок с картофелем.

Позабыв про свою болезнь, Володин полез было драться ... Но вскоре ... утих и, переменяв платье, задремал На другое утро он встал совершенно здоровый⁴⁷.

Как видно, в обоих рассказах Зощенко ставит один и тот же эксперимент, долженствующий дать болезни обратный ход, но исход оказывается разным⁴⁸. „Обратный толчок“, катарсис, основанный на повторном испуге, исцеляет в обоих случаях, но в первом из них имеет побочный эффект, сводящий на нет результаты излечения. Смех над психологией сочетается у Зощенко с имитацией научной точности: в своих текстах писатель обращается к одному и тому же опыту повторно, проверяя его результаты контрольным экспериментом.

Точечные психотерапевтические опыты, рассыпанные в многочисленных произведениях Зощенко, подытоживаются в суммирующем их антропологическом автоэксперименте, представленном в книге *Перед восходом солнца*, в которой прослеживаются 2 традиции психотерапии: с одной стороны, Зощенко опирается на методы

⁴⁷ Зощенко М.: *Собрание сочинений в 7 томах*. Том 3. Москва 2006, с.214-215.

⁴⁸ Любопытно, что Зощенко в рассказе *Сирень цветет* проверяет не только метод повторного шока, но и способ, которым лечили душевнобольного героя в *Записках сумасшедшего* Гоголя: „Но я уже не могу и вспомнить, что было со мною тогда, когда начали мне на голову капать холодной водою. Такого ада я еще никогда не чувствовал. Я готов был впасть в бешенство, так что едва могли меня удержать. Я не понимаю вовсе значения этого странного обычая. Обычай глупый, бессмысленный!“ [Гоголь Н.В.: *Записки сумасшедшего*, в: Гоголь Н.В. *Полн. Собрание сочинений в 14 томах. Т. 3*. Москва; Ленинград 1938, с.213]; „Я хотел было высунуть голову, но после подумал: "Нет, брат, не надуешь! знаем мы тебя: опять будешь лить холодную воду мне на голову“, [Ibidem]; „Они льют мне на голову холодную воду!“ [Ibidem, с.214]. В повести Гоголя метод „холодной воды“ не помогает излечению.

психоанализа Зигмунда Фрейда, а с другой – на учение Ивана Павлова о безусловных и условных рефлексах. Уже было отмечено⁴⁹, что комбинированный метод Зощенко близок идеям Троцкого, который в середине 1920-х годов предлагал скрестить фрейдизм и рефлексологию. Котова предполагает, что именно из-за этой опасной близости к троцкизму, Зощенко отложил публикацию первоначального варианта книги в 1938 году (тогда она еще называлась *Ключи счастья*), и вернулся к этому тексту лишь в военное время.

В статье *Культура и социализм* Троцкий говорит о сходствах и различиях двух учений:

И Павлов и Фрейд считают, что дном „души“ является физиология. Но Павлов, как водолаз, спускается на дно и кропотливо исследует колодезь снизу вверх. А Фрейд стоит над колодцем и пронизательным взглядом старается сквозь толщу вечно колеблющейся замутненной воды разглядеть или разгадать очертания дна. Метод Павлова – эксперимент. Метод Фрейда – догадка, иногда фантастическая⁵⁰.

Сочетание двух методик получило развитие в советской педологии: следуя Троцкому, Арон Залкинд пытался совместить психоанализ и рефлексологию. В годы, когда подобное сочетание подверглось гонениям в Советской России, учение о рефлексах расцвело в США, получив наиболее яркое выражение в „радикальном бихевиоризме“ Берреса Фредерика Скиннера (см., в частности, его книгу *The Behavior of Organismus* 1938 года). Таким образом, эксперимент Зощенко можно рассматривать в контекстах бихевиоризма, педологии, психоанализа, но в первую очередь, это все же художественный текст, не подчиненный науке, а вступающий с ней в соревнование.

Повествование в *Перед восходом солнца* исповедально, и цель этой исповеди – обнаружить в воспоминаниях рассказчика инвариантные мотивы – „больные предметы“, от которых страдающий психоневрозом писатель пытается убежать. Первую половину книги составляет т.н. материал эксперимента – обрывки воспоминаний, скомпонованные по хронологическому принципу; вторая половина – анализ экспериментальных данных, к которым, по ходу дела, применяется материал сновидений писателя, а также истории психонев-

⁴⁹ Котова М.: *Психоанализ и поэтика: как сделаны детские рассказы Михаила Зощенко*, в: *История литературы. Поэтика. Кино. Сборник в честь Мариэтты Омаровны Чудаковой*. Москва 2012, с.171-186.

⁵⁰ Троцкий Л.Д.: *Культура и социализм*, „Новый мир“ 1927, № 1, с.171-172.

розов, рассказанные ему его читателями, искавшими у него совета, как пациенты у врача. Зощенко пытается разорвать установившиеся в его сознании ложные связи между представлениями, но сам указывает на то, что подобные связи можно искать только под врачебным руководством. Писатель отмечает, что на определенном этапе литературной работы возникло усиление его невроза, как следствие неосторожного внимания к „больным“ темам, и эта ситуация чуть не привела его к смерти⁵¹.

Хотя Зощенко все время говорит о рефлексах⁵², его исповедальный текст довольно явно отсылает к психоанализу – сама форма исповеди унаследована, отчасти, из фрейдизма. У Фрейда заимствованы также попытка обнаружить травматические переживания в детском возрасте и анализ сновидений. Однако в отличие от хронологически построенного научного отчета, восходящего от предшествующего к последующему, воспоминания Зощенко представлены реверсивно, как киноплёнка, движущаяся назад: сначала от 16 до 24 лет, потом с 6 до 15 лет, далее от 2 до 5 лет и, наконец, до 2 лет. Писатель как бы демонстрирует не готовый метод психотерапии, но поиск метода, сопряженный с ошибками. Первым делом, Зощенко отмечает, что будет вспоминать „яркие сцены ... связанные с большим душевным волнением“, начиная с 16 лет, мотивируя это тем, что „нет нужды вспомнить детские годы“⁵³. Однако, записав таким образом 63 истории, писатель не находит в них источника своей „тоски“⁵⁴. Тогда он

⁵¹ „Пусть это мое состояние остережет читателя от подобных опытов. Только под наблюдением врача можно производить исследование психики и анализировать сны. Такое самолечение привело меня к тяжелым последствиям. И только лишь профессиональное умение думать и анализировать спасло меня от еще большей беды. Читатель не должен следовать моему примеру. Это более чем опасно“ [Зощенко М.М.: *Собрание сочинений в 7 томах. Том 7.* Москва 2006, с.248].

⁵² „– Я сделал в сущности простую вещь: – я убрал то, что мне мешало, – неверные условные рефлекссы, ошибочно возникшие в моем сознании. Я уничтожил ложную связь между ними. Я разорвал „временные связи“, как называл их Павлов“ [Ibidem, с.12].

⁵³ Ibidem, с.28. Ср: „Какие там могут быть особые душевные волнения у мальчишки. Подумаешь, великие дела! Потерял три копейки. Ребята побили. Штаны разорвал. Украли ходули. Учитель единицу поставил... Вот вам и все потрясения детского возраста. Лучше я вспомню, – подумал я, – сцены из моей сознательной жизни“ [Ibidem, с.28-29].

⁵⁴ „И вот мои воспоминания закончены. Я дошел до 1926 года. Вплоть до тех дней, когда я перестал есть и чуть не погиб. Передо мной шестьдесят три истории. Шестьдесят три происшествия, которые меня когда-то взволновали.“

принимается искать травматическое событие в своем детстве, начиная с 5 лет, и пишет вступление к циклу детских воспоминаний, стилистически параллельное к предупреждению о юношеских годах⁵⁵. Однако ни в промежутке с 5 до 15, ни даже с 2 до 5 лет писатель не обнаруживает причины своей болезни и решается на дальнейшие поиски:

Может быть, несчастное происшествие случилось до двух лет? – неуверенно подумал я.

В самом деле. Ведь первые встречи с вещами, первое знакомство с окружающим миром состоялось не в три и не в четыре года, а раньше, на рассвете жизни, перед восходом солнца⁵⁶.

Но Зоценко не удается проникнуть в период жизни до двух лет из-за отсутствия воспоминаний об этом возрасте. Только во второй половине книги, где писатель обращается к материалу своих снов и, уже исходя из новых данных, пытается восстановить травматические переживания детства, выясняется важность именно этого бессознательного периода жизни „перед восходом солнца“, когда человек, по словам Зоценко, напоминает „маленькое животное“.

Некоторые фрагменты последних глав книги Зоценко кажутся изложением нового психоаналитического учения, основанного на рефлексологии: „Мы видели, как возникали механизмы психоневроза. Они возникали по принципу условных рефлексов. Условные нервные связи соединяли четыре „больных предмета“⁵⁷. Временами повествование напоминает *Толкование сновидений* Фрейда, в котором важную функцию выполняли элементы аутопсихоанализа. Лечение путем разрывания временных связей между ложными представлениями кажется аналогичным приемам американского бихевиоризма.

Однако, несмотря на сходство описанного метода с современными Зоценко психотерапевтическими стратегиями, эксперимент

Каждую историю я стал пересматривать. В какой-нибудь из них я надеялся найти причину моей тоски, моих огорчений, моей болезни.

Но я ничего не увидел в этих историях“ [Ibidem, с.119].

⁵⁵ „С какого же возраста мне начать? – подумал я. Комично начать с года. Комично вспоминать то, что было в два и в три года. И даже в четыре. Подумаешь, великие дела произошли в столь мелком возрасте. Побрякушку отняли. Соску в горшок уронил. Петуха испугался. Мамаша нашлепала по заднице... Что ж вспоминать об этих мизерных делах, о которых, кстати сказать, я почти ничего и не помню. Я должен начать с пяти лет, – подумал я“ [Ibidem, с.122].

⁵⁶ Ibidem, с.182.

⁵⁷ Ibidem, с.270.

в *Перед восходом солнца* направлен по сути своей на опровержение науки: за маской психолога-экспериментатора, которую примеряет автор, открывается литературная интертекстуальность. Потрясения, вызывавшие катарсис в душе младенца, ребенка и юноши, восходят, в конечном итоге, не только к Фрейдю, но и к литературной традиции исповеди, а за собственными воспоминаниями Зоценко, удаляющимися в бессознательное состояние, чувствуется полемика с исповедью Блаженного Августина.

В *Confessiones* Августин повествует о пути, который он прошел в течении 33 лет, чтобы осуществить „лечение своей расслабленной души“⁵⁸. Лекарством больного сознания оказывается вера: „Излечиться я мог бы верою, которая как-то направила бы мой прояснившийся умственный взор к истине Твоей“⁵⁹. Если Августин начинает исповедь со своего младенческого состояния, о котором знает лишь по рассказам своих близких, то Зоценко заканчивает младенчеством, поначалу признаваясь, что ничего не помнит о себе, а во второй, аналитической половине книги реконструируя самые удивительные детали раннего детства на основе слышанного от родственников. Как христианский мыслитель, так и советский писатель оправдывают свои интимные воспоминания тем, что говорят о себе как об умерших. Августин пишет: „И вот младенчество мое давно уже умерло, а я живу“⁶⁰. Зоценко вторит ему: „Я буду говорить о вещах, о которых не совсем принято говорить в романах. Меня утешает то, что речь будет идти о моих молодых годах. Это все равно, что говорить об умершем“⁶¹.

Зоценко начинает воспоминания с 16 лет – 16-летнему возрасту посвящена и вторая книга исповеди Августина, следующая за описанием детских годов. В период юношества Августин тяготел к наслаждению преступным поведением:

я любил погибель; я любил падение свое; не то, что побуждало меня к падению; самое падение свое любил я, гнусная душа, скатившаяся из крепости Твоей в погибель, ищущая желанного не путем порока, но ищущая самый порок⁶².

⁵⁸ Conf. 5, XIV, 25.

⁵⁹ Conf. 6, IV, 6.

⁶⁰ Conf. 1, VI, 9.

⁶¹ Зоценко М.М.: *Собрание сочинений в 7 томах*. Том 7. Москва 2006, с.11.

⁶² Conf. 2, IV, 9.

Этот мотив любви к пороку стал основой исповеди Ставрогина, уместившейся на нескольких листках. Однако в отличие от Августина и Ставрогина, Зоценко не обнаруживает у себя любви к пороку. Не наслаждение пороком, а невозможность наслаждения⁶³ становится магистральной темой постфрейдистского сочинения штабс-капитана Зоценко, в остальных своих советских произведениях обыгрывающего не столько исповедь испорченного аристократа, сколько прозу и поэзию штабс-капитана Лебядкина⁶⁴.

Хотя в своей книге Зоценко ни слова не говорит о религии, примечательно, что некоторые из „больных предметов“, которые он обнаруживает в своем подсознании, оказываются христианскими символами: образы воды, нищего и руки, потрясшие неразвитое сознание младенца, даны в церковном контексте: „что, наконец, хотела взять эта страшная рука, которая погружала младенца в воду“⁶⁵, – вопрошает писатель во второй, аналитической половине книги. Десятки страниц у Зоценко посвящены пугающему символу руки, у которого писатель пытается отыскать смысл и „условные связи“, ссылаясь даже на фаллическое значение, предположенное врачом-фрейдистом, но полностью умалчивая о деснице Господней, неоднократно упоминающейся в Библии⁶⁶. Для Зоценко была важна, думается, не столько идея возмездия, сокрытая в карающей руке Бога, сколько божественное вручение заповедей, посвящение в пророки: „И простер Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот,

⁶³ При этом как Августин, так и Зоценко обращают внимание на сексуальные проявления своих психоневротических симптомов. В 6-й книге Августина болезнь души имеет сексуальные корни: „Болезнь души у меня поддерживалась и длилась, не ослабевая, и даже усиливаясь этим угождением застарелой привычке, гнавшей меня под власть жены. Не заживала рана моя, нанесенная разрывом с первой сожительницей моей: жгучая и острая боль прошла, но рана загноилась и продолжала болеть тупо и безнадежно“ [Conf. 6, XV, 25].

⁶⁴ О традициях Лебядкина у Зоценко см.: Сарнов Б.: *Пришествие капитана Лебядкина (Случай Зоценко)*. Москва 1993.

⁶⁵ Зоценко М.М.: *Собрание сочинений в 7 томах. Том 7*. Москва 2006, с.247.

⁶⁶ Правда, в одном из младенческих воспоминаний рука и божественный образ оказываются сближены в пространстве: „Сквозь далекий туман забвения я вспомнил темную комнату. Образ в углу. Лампадку.

Из темной стены тянется ко мне огромная рука. ... Я кричу. ... Хочу вскочить с кровати. Но не могу. Кровать затянута сеткой“ [Ibidem, с.250]. О других значениях символа руки у Зоценко см.: Жолковский А.: *Михаил Зоценко: поэтика недоверия*. Москва 1999, с.107-131.

Я вложил слова мои в уста твои“⁶⁷. Симптоматично, что решающей „опасной связью“ между „устаами“ и „рукой“ у Зоценко оказывается раскат грома – опять таки атрибут бога⁶⁸.

Литература у Зоценко противостоит в своей omnipotency как религии, так и науке; писатель должен был бы заместить собой как религиозного пророка, так и ученого-психиатра. Между тем писатель-невротик не может этого сделать, поскольку он – нищий (духом), его душа исполнена тоски. Соблазнительно сделать вывод, что страх Зоценко, как он изображен в его книге, – это комплекс пушкинского „пророка“, страх собственного избранничества, страх непомерной ответственности. Повесть следует читать как криптотекст, в котором зашифрован экспериментальный поиск момента посвящения в избранные Божии и отражение этого момента в невротических симптомах и в последующей судьбе автора. Однако этот криптотекст остается лишь интерпретацией: в духе советской литературы *Перед восходом солнца* имеет счастливый конец. Автоэксперимент позволил писателю, по его словам, вернуть себе душевное здоровье и радость жизни. Так, просоветски настроенный Зоценко спорит с традицией негативного экспериментирования у реалиста Достоевского и авангардиста Вагинова.

* * *

Три рассмотренных мною антропологических опыта принадлежат разным литературным эпохам. Интертекстуальная общность этих примеров не должна отвлекать внимание от их различий. Хотя оба позднейших случая в той или иной степени ориентируются на *Бесы* Достоевского с их критикой креативности, все же, как мы видели, Вагинов обличает литературный дискурс как негативный антрополо-

⁶⁷ Иеремия 1: 9.

⁶⁸ „Ужасный гром потряс всю нашу дачу. Это совпало с тем моментом, когда мать начала кормить меня грудью. Удар грома был так силен и неожидан, что мать, потеряв на минуту сознание, выпустила меня из рук. Я упал на постель. Но упал неловко. Повредил руку. Мать тотчас пришла в себя. Но всю ночь она не могла меня успокоить. Можно представить новое переживание несчастного малыша. Удар грома произошел, быть может, в тот момент, когда ребенок взял сосок в свои губы. Вероятно, не без опаски ребенок прикоснулся к груди — ведь она таит в себе такие опасности: может прийти рука, может взять, унести, наказать... И вдруг адский удар грома, падение, бесчувственное тело матери. Какое новое доказательство опасности груди!“ [Зоценко М.М.: *Собрание сочинений в 7 томах. Том 7.* Москва 2006, с.256].

гический эксперимент, тогда как Зощенко отсылает к *Бесам* стилистически (пародируя как исповедь Ставрогина, так и творчество Лебядкина), при этом утверждая практическую ценность антропологического опыта в литературе. Во всех трех случаях писатели противопоставляют эксперимент не столько литературе, сколько жизни, бытию. В *Бесах* эксперимент, равно как и литература, являясь ложной креативностью, уничтожают жизнь; аналогичным образом Вагинов в *Трудах и днях Свистонова* подчеркивает негативность художественного текста: герой-писатель наполняет жизнью иной мир литературы, разрушая, таким образом, собственную реальность и реальность окружающих его людей. Этой тенденции противостоит текст Зощенко, где писатель-рассказчик обретает новую жизнь в результате удачного психологического опыта.

Антропологические опыты ставили и литераторы символизма, например, Федор Сологуб в трилогии *Творимая легенда* или Валерий Брюсов в романе *Огненный ангел*⁶⁹. В обоих случаях эксперимент также со/противопоставлен жизни, но он не моделируется как ложная креативность, демонстрируя свою амбивалентность. Так, сологубовский Триродов не уничтожает жизнь, но занят ее экспериментальным воскрешением. Думается, именно эту символистскую традицию подхватывает Зощенко, предлагая в повести *Перед восходом солнца* проект по воскрешению самого себя, осуществляемый средствами литературы.

REFERENCES:

- Akhutin A.V.: *Ekspерiment, Novaya filosofskaya entsiklopediya*. V 4 tomach, tom 4. Moskva 2010, s.425-426. (Ахутин А.В.: *Эксперимент*, в: *Новая философская энциклопедия*. В 4 томах, том 4. Москва 2010, с.425-426).
- Bakhtin M.M.: *Rabochie zapisi 60-h – nachala 70-h godov*, v: Bakhtin M.M.: *Sobranie sochinenij v 7 tomah*, tom 6. Moskva 2002, s.371-439.

⁶⁹ Брюсов описывает в литературном тексте опыт жизнотворчества, тогда как Сологуб фиксирует, с одной стороны, антропологический эксперимент, производимый Георгием Триродовым в своей усадьбе над детьми, а с другой стороны, изображает сотворение фантастического человека, уходящее корнями в литературу романтизма (например, Триродов уменьшает одного из героев в несколько раз и сажает его в волшебную призму).

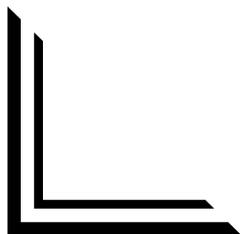
- (Бахтин М.М.: *Рабочие записи 60-х – начала 70-х годов*, в: Бахтин М.М. *Собрание сочинений в 7 томах*, том 6. Москва 2002, с.371-439).
- Berdyayev N.A.: *Otkrovenie o cheloveke v tvorchestve Dostoevskogo*, „Russkaya mysl“ 1918. Кн. 3-4, s.39-61. (Бердяев Н.А.: *Откровение о человеке в творчестве Достоевского*, „Русская мысль“ 1918. Кн. 3-4, с.39-61).
- Berdyayev N.A.: *Mirosozertsanie Dostoevskogo*. Prague 1923. (Бердяев Н.А.: *Мирозерцание Достоевского*. Прага 1923).
- Blazhennyj Avgustin Avrelij: *Ispoved'*. Moskva 2005. (Блаженный Августин Аврелий. *Исповедь*. Москва 2005).
- Bresler D.: „...Slezno umolyal Svistonova razorvat' rukopis'„: *pragmatika geneticheskogo dos'e romanov Vaginova*, „Novoe literaturnoe obozrenie“ 2016, № 2, с.145-157. (Бреслер Д.: „...Слезно умолял Свистонова разорвать рукопись“: *прагматика генетического досье романов Вагинова*, в: *Новое литературное обозрение* 2016, № 2, с.145-157).
- Dostoevskij F.M. *Polnoe sobranie sochinenij v 30 tomah*. Leningrad 1972-1990. (Достоевский Ф.М.: *Полное собрание сочинений в 30 томах*. Ленинград 1972-1990).
- Gamper M.: *Dichtung als „Versuch“*. *Literatur zwischen Experiment und Essay*, in: „Zeitschrift für Germanistik“ 2007, XVII, 3, S.593-611.
- Gamper M. *Eksperiment i literatura: istoriko-nauchnaya perspektiva*, „Novoe literaturnoe obozrenie“ 2015, № 4 (134), s.221-234. (Гампер М. *Эксперимент и литература: историко-научная перспектива*, „Новое литературное обозрение“ 2015, № 4 (134), с.221-234).
- Gogol' N.V.: *Zapiski sumasshedshego*, Gogol' N.V. *Polnoe sobranie sochinenij v 14 tomah*. Том 3. Moskva; Leningrad 1938, s.191-214. (Гоголь Н.В.: *Записки сумасшедшего*, в: Гоголь Н.В. *Полное собрание сочинений в 14 томах*. Том 3. Москва; Ленинград 1938, с.191-214).
- Grechishkin S. S., Lavrov A. V.: *Biograficheskie istochniki romana Bryusova „Ognennyy angel“*, в: *Simvolisty vblizi. Stat'i, publikatsii*. Sankt Peterburg 2004, s.6-62. (Гречишкин С. С., Лавров А. В.: *Биографические источники романа Брюсова „Огненный ангел“*, в: *Символисты вблизи. Статьи, публикации*. Санкт-Петербург 2004, с.6-62)
- Grigor'eva N.YA.: *Chelovechnoe, beschelovechnoe: radikal'naya antropologiya v filosofii, literature i kino konca 1920–h–1950–h gg*. Sankt-Peterburg 2012. (Григорьева Н.Я.: *Человечное, бесчеловечное: радикальная антропология в философии, литературе и кино конца 1920–х–1950–х гг*. Санкт-Петербург 2012).

- Kotova M.: *Psikhoanaliz i poetika: kak sdelayu detskie rasskazy Mikhaila Zoshchenko*, v: *Istoriya literatury. Poetika. Kino. Sbornik v chest' Marietty Omarovny Chudakovooy*. Moskva 2012. P. 171-186. (Котова М.: *Психоанализ и поэтика: как сделаны детские рассказы Михаила Зоценко*, в: *История литературы. Поэтика. Кино. Сборник в честь Мариэтты Омаровны Чудаковой*. Москва 2012, с.171-186)
- Malevich K.: „*Chelovek samoe opasnoe v prirode yavlenie...*“, v: Malevich K.: *Chernyj kvadrat*. Sankt Peterburg 2008, s.219-234. (Малевич К.: *„Человек самое опасное в природе явление...“*, в: Малевич К. *Черный квадрат*. Санкт-Петербург 2008, с.219-234).
- Mach E.: *Poznanie i zabluzhdenie. Ocherki po psikhologii issledovaniya*. Moskva 2003. (Мах Э.: *Познание и заблуждение. Очерки по психологии исследования*. Москва 2003).
- Nicolozi R.: *Eksperimenty s eksperimentami: Emil' Zolya i russkiy naturalism*, „*Novoe literaturnoe obozrenie*” 2015, № 4 (134). P. 202-220. (Николози Р.: *Эксперименты с экспериментами: Эмиль Золя и русский натурализм*, „*Новое литературное обозрение*“ 2015, № 4 (134), с.202-220).
- Nikol'skij Yu.: *Turgenev i Dostoevskij (Istoriya odnoy vrazhdy)*. Sofia 1921. (Никольский Ю.: *Тургенев и Достоевский (История одной вражды)*. София 1921).
- Pethes N.: *Versuchsobjekt Mensch. Gedankenexperimente und Fallgeschichten als Erzählformen des Menschenversuchs*, in: M. Gamper (Hg.): *Experiment und Literatur I. Themen, Methoden, Theorien*. Göttingen 2010, S.361-383.
- Sarnov B.: *Prishestvie kapitana Lebyadkina (Sluchay Zoshchenko)*. Moskva 1993. (Сарнов Б.: *Пришествие капитана Лебядкина (Случай Зоценко)*. Москва 1993).
- Shaginyan M.S.: *KIK. Roman-kompleks*, v: Shaginyan M.S.: *Sobranie sochinenij v 6 tomah, Tom 2*. Moskva 1956, s.411-550. (Шагинян М.С.: *КИК. Роман-комплекс*, в: Шагинян М.С.: *Собрание сочинений в 6 томах, Том 2*. Москва 1956, с.411-550).
- Smirnov Igor P.: *Psyhodiahronologika*. Moskva 1994. (Смирнов Игорь П.: *Психодиахронология*. Москва 1994).
- Trotsky L.D.: *Kul'tura i socializm*, „*Novyj mir*“ 1927, № 1, s.166-184. (Троцкий Л.Д.: *Культура и социализм*, „*Новый мир*“ 1927, № 1, с.166-184).

- von Viren-Garchinskaya V.: *Mihail Zoshchenko — autor psihoanaliticheskih povestej*, v: Zoshchenko M. *Pered voskhodom solnca*. New York 1967, s.5-12. (фон Вирен-Гарчинская В.: *Михаил Зоценко — автор психоаналитических повестей*, в: Зоценко М. *Перед восходом солнца*. New York 1967, с.5-12).
- Vaginov K.: *Romany*. Moskva 1991. (Вагинов К.: *Романы*. Москва 1991).
- Vaginov K.K. *Polnoe sobranie sochinenij v proze*. Sankt Peterburg 1999. (Вагинов К.К. *Полное собрание сочинений в прозе*. Санкт-Петербург 1999).
- Vöhringer M.: *Avantgarde und Psychotechnik. Wissenschaft, Kunst und Technik der Wahrnehmungsexperimente in der frühen Sowjetunion*. Göttingen 2007.
- Zholkovskij A.: *Mikhail Zoshchenko: poetika nedoveriya*. Moskva 1999. (Жолковский А.: *Михаил Зоценко: поэтика недоверия*. Москва 1999).
- Zola É.: *Eksperimental'nyj roman*, v: Zola É.: *Sobranie sochinenij v 26 tomah. Tom 24*. Moskva 1966, s.239-280. (Золя Э.: *Экспериментальный роман*, в: Золя Э. *Собрание сочинений в 26 томах. Том 24*. Москва 1966, с.239-280).
- Zoshchenko M.M.: *Sobranie sochinenij v 7 tomah*. Moskva 2006. (Зоценко М.М.: *Собрание сочинений в 7 томах*. Москва 2006).



КНИГИ, КНИГИ, КНИГИ...



Теофилология Владимира Кантора

Владимир Кантор: Изображая понимать: Sententia Sensa: философия в литературном тексте. Москва – Санкт-Петербург: Российская Академия Наук (Центр гуманитарных инициатив), 2018.

Вышла в свет книга профессора Владимира Кантора *Изображая понимать: Sententia Sensa: философия в литературном тексте*¹. Книга представляет собой огромный том, более чем в восемьсот страниц, на которых автор разместил свои статьи о русской и европейской литературе, написанные им в течение последних 10-15 лет, причем речь идет о литературе от раннего Возрождения до наших дней... Это не столько монография, сколько собрание сочинений.

Для начала бросим беглый взгляд на оглавление книги: *Гамлет как „христианский воин”, Женщина как искушение, Бес против Бога, Как Бог попустил этот мир? Теодицея, Апокалипсис как восстание масс, Смена эпох: ведьма как носительница вечной женственности, Карнавал или бесовщина?*, ну и так далее. Исходя именно из этих названий, мы смело можем сказать, что речь идет не столько о философии „вообще”, сколько о *религиозной философии*... Собственно, речь тут может идти о *теофилологии* Владимира Кантора, ибо исследователь пытается дать нам образец филологии, исходящей из некоего христоцентризма, хочет подчинить филологию интересам религиозной даже не философии, а *идеологии* и в этом направлении предпринимает очень серьезные попытки. Нет никакой возможности дать углубленный обзор книги по причине ее совершенно неохватного объема. Мы постараемся дать представление о главном философском принципе исследования, опираясь вот на такое высказывание Владимира Соловьева: „...первое условие истинной критики: показать главный принцип разбираемого умственного явления...”². Очень хочется надеяться, что нам удастся не ошибиться в определении этого *главного принципа* и читатель легко будет *узнавать* его в каждой главе замечательной книги Вл.Кантора, что поможет читателю успешно завершить путешествие по более чем восьмистам страницам необъятного исследования...

¹ Далее в тексте при цитировании в скобках указаны страницы этого издания.

² Вл.Соловьев: *Идея сверхчеловека*, в: Вл.Соловьев, *Избранное*, Москва, „Советская Россия”, 1990, с.220.

Поначалу для анализа мы выделили три главные темы: „Шекспир”, „Вечная женственность”, „Достоевский”. Но, ввиду обширности материала и глубины, с которой он подается Автором, пришлось довольствоваться анализом лишь двух тем: „Шекспир” и „Достоевский”. Вл.Кантор задается очень серьезными вопросами, углубляется в бесчисленные нюансы, требующие тончайшего подхода, и жертвование этими нюансами во имя создания некоей более широкой картины означало бы только одно: дать о книге представление, „умственный уровень” которого далеко бы отставал от того „умственного принципа”, на уровень которого претендует Автор, а нам бы хотелось, чтобы Автор отнесся к нашим рассуждениям с таким же вниманием и интересом, которые он проявил при анализе бесчисленных соображений, высказанных его коллегами по филологическому творчеству на протяжении этого тома...

Для начала откроем книгу не на самой первой ее странице, а там, где помещена глава под названием *Достоевский как ветхозаветный пророк*, то есть в самой середине тома. Там есть одно место, „философичнее” которого уж ничего и вообразить себе невозможно. Глава представляет собой диалог между автором книги профессором Вл.Кантором и его коллегой по Высшей Экономической Школе профессором С.Медведевым. Вот кусочек из диалога, точнее говоря, интервью, который буквально заворожил нас именно своей *философичностью*:

ВЛ.КАНТОР: ...У Толстого все просто. „А” равно „Б” или „А” равно „А”, „Б” равно „Б”, и так далее. У Достоевского „А” никогда не равно „А”, и вообще непонятно, чему оно равно. Оно равно какому-то потустороннему совершенно пространству.

С.МЕДВЕДЕВ. Да, вы знаете, это очень сильное замечание, потому, что Достоевский – это про сложность. ... и почему меня он так потряс в свое время, потому что неожиданно я узрел какое-то не трехмерное пространство, а пятимерное, десятимерное, как человек, открывший неэвклидову геометрию Лобачевского, Римана и так далее... (334).

Ценность этого маленького кусочка заключается в том, что на все необъятное море информации, которая будет „опрокинута” на голову читателя, наш Автор смотрит через призму этой дихотомии: А и Б формальной логики против десяти измерений „риманова пространства”. В каждом авторе, в каждом произведении, на котором наш

Автор будет останавливать свое внимание, он будет искать вот эту самую „десятимерность” С.Медведева...

Начнем с главы *Гамлет как „христианский воин”*, в которой Вл.Кантор дает нам новую трактовку трагедии и вот в чем своеобразие этой трактовки: Автор делает упор на вероисповедание Принца Гамлета, на его протестантизм, что, конечно же, очень интересно прежде всего в том отношении, что предоставляет Автору возможность подойти к пьесе с совершенно неожиданной стороны. Не со стороны интриг, что для исследователя тоже важно, но, прежде всего, со стороны *веры* как главного двигателя образа действий Принца. Если именно с этой точки зрения смотреть, то, по Кантору, выяснится, что Гамлет действовал четко, продуманно и нисколько не медля...

В книге есть такие слова:

Позволю себе методологическое соображение, простое, но важное. Только погрузив текст в насыщенный раствор идей той эпохи, связанной с попыткой заново понять христианские смыслы, мы осознали смысл произнесенного великим драматургом (18).

Создается впечатление, будто тем, кому еще не приходила в голову мысль „погружать” текст Шекспира в „раствор идей той эпохи”, смысла пьесы постичь никак невозможно. А если так, то остается неясным: каким образом пьеса так долго не сходит со сцен мирового театра. Полагаем, все-таки, что Автор предлагает нам осознать тот смысл, какой именно *он*, Автор, вкладывает в текст, „произнесенный драматургом”.

Именно протестантизмом Гамлета Автор объясняет его поведение, объясняет движение его судьбы. Более того, он даже считает, что Гамлет прибыл в (свой символический) Эльсинор чуть ли не в тот момент, когда Лютер прибывал к воротам церкви свои тезисы, и это „биографическое” уточнение не вносит ясности, поскольку Автор тут же показывает, как много в пьесу вошло отрывков из Эразма Роттердамского, Пико делла Мирандоллы, Томаса Мора, то есть из авторов, которые жили и прославились уже после того, как принц Гамлет умер (по Кантору). Самое интересное заключается в том, что, приводя отрывки из пьесы, в которых Кантор очень тонко узревает отсылки Шекспира к знаменитым авторам шестнадцатого столетия (Эразм, Пико делла Мирандолла и так далее), упор делается Кантором на то, что все эти идеи выражают отношение этих знаменитых авторов к проблеме управления государством, для них очень важна идея

справедливого правителя, справедливого монарха. Гамлет мыслится Кантором как человек государственной закваски, человек, который готовит себя к управлению страной и при этом очень дорожит своей верой, суть которой еще и в том, что „старое” христианство как бы меняет свою „кожу”, становится каким-то другим, под влиянием проповедей Лютера и Меланхтона. Автор тратит очень много усилий на то, чтобы показать нам сильного, твердого человека, умелой рукой пытающегося расчистить путь к освобождению страны от „плохого государя” (от „Антихриста”?). Короче, политические мотивы тесно сливаются с религиозной установкой главного персонажа. Для Кантора принц Гамлет – „детоводитель ко Христу”. Свергнуть узурпатора Клавдия значит не только восстановить справедливость, но и выполнить свой *религиозный* долг, утвердить себя в глазах народа подлинным христианином, подлинным „наследником” Лютера и Меланхтона.

Хотел того Владимир Кантор или не хотел, но так получилось, что в результате новой трактовки главным врагом Гамлета становится не дядя принца, не брат его отца Клавдий, а *призрак* отца, согласно которому Клавдий оказался, как теперь говорят – заказчиком убийства. Не сам отец, а именно его призрак. Что касается *нашей* трактовки, то нас всегда интересовал вот какой момент: почему где-то к середине пьесы Гамлет перестал вспоминать своего отца, перестал петь ему дифирамбы и так далее? Мы связывали это обстоятельство с тем, что Гамлет понял: королевский двор это такая клоака, варясь в которой невозможно сохранить „невинность”, чистоту, безгрешность. До принца постепенно дошло, что отец был вовлечен в жизнь этой клоаки, и это открытие окончательно парализовало волю Принца, вдруг сообразившего, что убив Клавдия, он вынужден будет занять его место и стать очередной жертвой разложения, подстерегшего не только Клавдия, но и Гертруду, и, стало быть, может *уже* подстерегающего и следующую свою жертву – прекрасную Офелию.

И вот эта *наша* „сюжетная линия”, наша интерпретация шекспировского сюжета натолкнулась на очень интересную трактовку Владимира Кантора. В результате этой трактовки оказалось, что принц, бесконечно любящий, буквально обожающий своего отца, теперь вот поставлен его смертью в ужасное положение: сейчас этот благороднейший, достойнейший человек является ему в качестве призрака... Но для *насквозь религиозного*, одержимого учением Лютера молодого человека всякое появление такого рода существа *из-под земли*,

это признак дьявольского соблазна, попытка соращения, попытка утащить молодого неопита очень строгой религии в адскую бездну сомнения в силе Божьей... Гамлету надо убедить себя в том, что это, все-таки, не душа его отца, страдающая от того, что умерла без покаяния и, стало быть, не может улететь на Небеса, а ловушка дьявола...

Одним словом, не оказался ли в лице Призрака перед Гамлетом сам Сатана, сам Дьявол, рядом с которым узурпатор Клавдий – всего лишь мелкий черт?... Дьяволу надо, чтобы *христианин* Гамлет согласился на чисто языческое действие: на убийство из мести... Коротче говоря, все сводится к подковерной борьбе христианства и язычества, подковерной в том плане, что победа чисто политического характера – устранение злого правителя, выступает как торжество новейших религиозных веяний, связывается с победоносным шествием имени Христа по планете. Лютер вернул христианству его светлый лик. Такова мысль Кантора. И это деяние Лютера помогло Гамлету совершить уже *его* подвиг – восстать против воплощенного зла – братоубийцы и фальшивого короля Клавдия. Церкви возвращается ее авторитет, изрядно подмоченный нечистоплотностью папства, особенно проявившей себя, как нам хорошо известно, в бесстыдной торговле индульгенциями. Как мы знаем, Шекспир ничего про индульгенции не говорит, но ведь это же та самая последняя искра, от которой вспыхнул костер протестантизма. Хотел того Кантор или не хотел, но христианство у него выступает в роли некоей политической силы, чего-то более реального, чем просто „идеология души”, сила, которая подвигла все общество на единодушное сопротивление церковному лицемерию.

Мы не имеем ничего против этой трактовки, тем более, что речь идет не о спектакле, а о собственно пьесе. Ученый-филолог, то есть *исследователь*, имеет полное право выдвигать свои теории, а мы имеем полное право соглашаться с ними или не соглашаться... Нас удивляет немного другое: уж если *деноминация* принца (его протестантизм) имеет такое большое значение в трактовке Кантора, вплоть до того, что (по мысли Кантора) в свой символический Эльсинор принц прибывает чуть ли не под стук того молотка, каким Лютер прибавал свои тезисы к воротам церкви, уж если пойти на такой смелый шаг, почему бы не воспользоваться им в полной мере? Почему бы не использовать все его возможности? Тем более, что кроме Лютера и Меланхтона (никак, между прочим, не упоминаемых в самой

пьесе) в протестантизме есть и другая мощная фигура – Жан Кальвин, чисто политическое значение этой фигуры трудно переоценить, а в ситуации, сконструированной Кантором на основании пьесы Шекспира, это политическое значение могло бы обернуться и мощным *психологическим* влиянием на поведение (и, стало быть, образ) Принца. Впрочем, к Кальвину мы еще вернемся.

Заметим, кстати, что и к Лютеру наш Автор отнесся как-то не очень внимательно, а ведь это, как нам показалось, значительно помогло бы ему в развитии его собственной концепции. Например, вопреки *Тезисам* Лютера, в которых часто упоминается такое понятие как „священник”, Кантор считает, что трудность положения Гамлета усугублялась отсутствием священника рядом с ним, потому что протестантизм, якобы, отрицает роль священника как прямого посредника между верующим и Богом. Священник, согласно Кантору, жил „внутри” Гамлета, условно говоря, это была виртуальная фигура (*наше* выражение, не Автора).

Видимо, кроме „раствора идей того времени” текст нужно погружать еще и в „раствор” его содержания, то есть, стало быть, воспринимать текст как „собственно раствор”, как своеобразную концентрацию „идей эпохи”. Иначе именно в трактовке содержания возможны некоторые проблемы. Вот пример: насколько нам известно, Гамлет нисколько не страдал по поводу своего отношения к Офелии, и наш Автор, хотя и признает, что Гамлет был непозволительно груб и, более того, именно от него Офелия и забеременела, но, тем не менее, как бы прощает это поведение Принцу, что не совсем понятно: ведь Гамлет, по убеждению Автора, – „водитель ко Христу”! В идеале это именно *христианский* государь (пусть в проекции на будущее, но тем не менее). И пусть у адепта новой религии, по мысли интерпретатора, не было „классического”, традиционного священника, но, как мы уже заметили, в груди Гамлета просто не мог не жить священный голос того духа, который выражал идеи вождей протестантизма... Этот голос должен был не просто нашептывать Гамлету какие-то истины, а должен был властно и громко их произносить, если, конечно, он оставался верен душевному настрою тех, кто был автором этих истин, в конкретном случае, скажем, Кальвина: „Так что не будем себя обма-

нывать, если мы знаем, что мужчина, живущий с женщиною вне брака, *не избежит проклятия*³.

Мы знаем, как глубоко ненавидел Принц короля Клавдия, но ведь тот же дух, тот же священник тем же голосом Кальвина мог говорить и другое: „...каковы бы ни были начальствующие над нами, они не смогли бы против Божьей воли занять положение, по причине которого Господь велит нам почитать их” (Глава VIII, пятая заповедь, 36.) Получается, что узурпатор Клавдий оказался на своем месте ни больше, ни меньше как *по воле Божией* и это мы постараемся запомнить. А теперь перейдем к внутреннему голосу (то есть, к „священнику”), рассуждающему на тему родителей: „Бог заповедует... ..предавать смерти злословящих отца или мать” (Исход 21:17; Левит 20:9); тем самым он карает всякую непочтительность и презрение: „Он предписывает... ..чтобы буйный и непокорный сын также был предан смерти” (Второзаконие 21:18; Притчи 20:20). Разве это не объясняет нам известную парализованность в поведении Гамлета? Парализованность, сочетающуюся с раздражительностью, с неуверенностью в себе? Ведь Гамлет – ученик „Лютера и Меланхтона”, отцов Реформации.

Кальвин не устает повторять одно и то же: „Если повинующимся отцу и матери Господь обещает в этой жизни благословение, то это означает, что *на всех непослушных он насылает проклятие*... .. И если непокорные каким-то образом избегают кары от людей, *свое мщение осуществит Бог*”(38). Тот самый Бог, который, согласно тому же Кальвину, решает, кого наказывать, а кого нет, независимо от грехов... Тут кто угодно растеряется... Гамлет знает про своих родителей такое, что лучше бы ему этого не знать. Он и реагирует соответственно, хотя и под угрозой наказания. Не тут-то было. Судьбой приговорен еще один вариант:

И если родители хотят заставить нас преступить Закон, то нет оснований считать их отцами и матерями... .. Наоборот, они нам чужие, если стремятся отвратить нас от повиновения нашему истинному Отцу. *То же самое относится к нашим князьям, правителям и начальствующим*: было бы безумием, если бы их превосходство в чём-то принижало величие Бога, ибо их превосходство зависит от

³ Жан Кальвин: *Наставление в христианской вере*. Том II, Москва 1998 (глава VIII: *Седьмая заповедь*, фрагмент 41; в дальнейшем номера фрагментов будут указаны сразу после цитаты).

Господа и должно возвеличивать его честь, а не умалять, утверждать, а не ниспровергать (38).

Это сказано по поводу тех же самых начальников, которые неважно как оказались на своем месте, но оказались на нем *по воле Божьей*... И тут, конечно, наступил самый подходящий момент для нашего вопроса Вл.Кантору: а почему он не погрузил пьесу Шекспира именно вот в эту часть „раствора”? Вот в *эти* тексты протестантской классики?

Надо сказать, что у Жана Кальвина был очень серьезный и грозный критик – Эразм Роттердамский. Он писал о том, что для религиозных текстов часто характерны откровенные противоречия, несогласованность в идеях, но при этом сам тон наставлений их был, как правило, весьма категоричен. Намекая своему слушателю и своему читателю на высоко вознесенную длань Господа, готового этой дланью смертельно поразить любого отступника, Эразм писал: „Иначе было бы вроде того, как если бы человеку, у которого руки связаны так, что он может протянуть руку только влево, сказали: Вот справа стоит очень хорошее вино, а слева — отравленное; протяни руку, к какому хочешь”⁴. А тут такая ситуация, что даже не знаешь какая рука у тебя связана... Одним словом, воля Гамлета парализована тем самым священником *изнутри*, на которого так уповаet наш Автор, парализована голосами Лютера и Кальвина, но, конечно же, если принять в расчет „наше” место в том самом „растворе”, в душе Гамлета должен звучать еще и голос Эразма и, очевидно же, что он просто *не мог не звучать*, ибо это был голос о той самой „свободе воли”, без которой ни философская, ни религиозная, ни политическая мысль, если она устремлена вглубь обсуждаемой здесь проблемы, существовать не может...

Более того, будем помнить, что и „воля Божия” и „свобода воли” – все это *идеи*, „раствор *идей* той эпохи”; а Гамлет, между тем, – живой человек, он не „идея”... А если учесть, что, согласно нашему Автору, Гамлет умер до того, как Кальвин начал публиковать свои труды, то он тоже вполне мог принять голос *священника* за сомнамбулическое вещание *призрака*...⁵. Вот тут-то и показать бы, что Гам-

⁴ Эразм Роттердамский: *Диатриба или о свободе воли*, www.sedmitza.ru/lib/text/443254, фрагмент 104 (20.12.2022).

⁵ Добавим к этому еще немножко из Кальвина: „Богу мерзостна всякая грязь - как души, так и тела... ..Следовательно, если мы хотим соблюсти заповедь,

лет с его невоздержанностью, с его грубыми характеристиками матери, с его откровенной ненавистью к дяде, с его явно „некальвинистской” этикой мог оказаться между Сциллой Закона („идеи”) и Харибдой своей собственной души, которая, на самом-то деле, была душой человека *становящегося*, человека нового времени, в чем-то тонкого, в чем-то грубого, в чем-то сдержанного, в чем-то капризного, не умеющего себя остановить. Одновременно и уверенного в себе и неуверенного, короче – того самого человека, который жил в то самое время, про которое мы читаем в современном интернете:

Рост городов, возникновение денежного капитала, развитие товарного производства, образование мирового рынка, географические открытия — все это рушило вековые понятия. *Был положен конец духовному господству церкви, появились зачатки новой науки, начало формироваться новое мировоззрение.*⁶

Вот этот „конец духовному господству церкви” и есть тайная пружина того протеста, который прочитывается между строк в дифирамбах Кантора протестантизму... Кантор, с одной стороны, хочет, чтобы Гамлет был человеком нового времени, но с другой стороны, чтобы он был таким человеком, которого и представить невозможно способным протестовать против протестантизма. Одним словом, согласно *нашему* „раствору”, Принц был сыном своего времени, которое „вышло из пазов”, из чего мы заключаем, что и принц *тоже* несколько „вышел из пазов”... Он оказался между церковью, в недрах которой все сильнее становилась схватка между кальвинизмом и католицизмом, и между бурно расширяющейся и развивающейся жизнью общества, когда человек терялся под разнообразием каких-то новых веяний, искушений, вызовов...

Будем помнить, что другом Гамлета был Горацио – говоривший о себе – „Я римлянин, не Датчанин душой”... „Римлянин”, стало быть – стоик, то есть серьезный конкурент пиетизму... Недаром, Кантора так возмутил И.Тургенев, отзывавшийся о Гамлете не самым лестным образом. Но Тургенев смотрел на Гамлета как на человека

то недопустимо, чтобы сердце изнутри разжигалось похотью, взгляд был нескромен, лицо разрисовано, как у содержательниц притонов разврата, язык своими гнусными речами склонял к блуду, а рот звал к нему. Ибо все эти пороки – словно комья грязи, пачкающие целомудрие и воздержание, уничтожающие чистоту” (*Заповедь седьмая*, 44).

⁶ www.studwood.net/2497030/literatura (21.06.2022).

не времен Лютера и Меланхтона, человека, одержимого идеей поиска „новой евангельской чистоты”, а как на человека того времени, которое переживало и распад свой и становление, то есть – „вышло из пазов”. Если у Гамлета был Горацио, то у Шекспира это место занимал гениальный Кристофер Марло, открытый атеист, причем настолько открытый, что, по слухам, трактирная драка, в которой Марло был убит, была подстроена полицией (1593 год, „лихие девяностые” шестнадцатого столетия). Вместе с Шекспиром они написали пьесу *Король Генрих VI*, не говоря уж о том, что и до сих пор существуют люди, которые считают, что Кристофер не погиб в этой драке, а остался жив, скрываясь под именем „Шекспир”. Такой Марло совсем не нужен Кантору: „И сближение Фауста и Гамлета в немецком сознании тоже заслуживает внимания. Фауст прикосновен к магическим силам, Гамлет с магией Призрака борется” (21).

Все гораздо интереснее: Фауст Кристофера Марло, этот умница, интеллеktуал, был не просто „прикосновен” к магии, а серьезно вовлечен в таковую. Пытался отделаться от Мефистофеля, но не вышло, да и не очень-то, видимо, хотелось, чтобы „вышло”. Мефистофель у Марло был интеллеktуалом не хуже, чем Мефистофель у Гете: „Единым местом ад не ограничен, / Пределов нет ему; где мы, там ад; / И там, где ад, должны мы вечно быть”. А вдруг Шекспиру такая точка зрения тоже нравилась? Но в таком случае его положительный герой никак не мог оказаться „детоводителем ко Христу”, погруженным в поиски „евангельской чистоты”...⁷

Одним словом, Кантор весьма избирательно подбирает „раствор”, в который он погружает текст Шекспира. Повторимся: рассказывая нам о детоводителе ко Христу, Автор избегает темы конфликта „детоводителя” с мощными авторитетами эпохи раннего протестантизма, тех, кто призывал верующих не на свои силы уповать, а на силу благодати Божией и тех, кто призывал опираться на свой разум, на свободу воли, в основании которой лежала все та же самая надежда на благодать, надежда, не парализующая волю, а вдохновляющая ее, провоцирующая в человеке проявление его самостоятельности, врожден-

⁷ Кстати, вот что про эпоху „евангельской чистоты” писал Владимир Соловьев – непререкаемый авторитет для Вл.Кантора: „Уже в Апостольских Посланиях к различным церквам решительно преобладает обличительный характер, в уже этих первых христианских общинах, рядом с особыми духовными дарами, появляются и особые безобразия (см. *Послания апостола Павла к коринфянам*)” (В.С.Соловьев: *Избранное*, Москва 1990).

ной разумности, умению, не боясь, впадать в сомнение, предаваться отчаянию...⁸ Следовательно, ни о каком жестоком деспотизме, ни о каком жутком фанатизме (вплоть до сжигания людей), проявленных Кальвиным в годы его женеvской диктатуры, у Вл.Кантора речь не идет... Не будем удивляться тому, что вместе со всеми своими недостатками из поля зрения нашего Автора исчез Кальвин весь, целиком...

И, повторяем, тем самым ученый не использовал блестящую возможность, какую предоставляла ему его собственная теория: „погрузив” текст Шекспира в раствор идей того времени, Автор не окунул этот текст в раствор *противоречий* того времени... А отсюда не совсем желательный парадокс: делая упор на „выправление курса”, на протестантизм, на спасительную роль чисто *конфессионального* аспекта, Автор дает комментарии, не всегда корректные по отношению к этой самой конфессиональной стороне дела... Результатом указанного парадокса являются откровенные противоречия тому самому тексту, который был прибит к воротам лютеровской церкви. Вот кое-что, кстати, отсюда о священниках: „Тезис 7: Никому Бог не прощает греха, не заставив в то же время покориться во всем священнику. Своему наместнику”, или: „Тезис 10: Невежественно и нечестиво поступают те священники, которые и в Чистилище оставляют на умерших церковные наказания”. Кто знает, может, это доказательство того, что Призрак страдал несправедливо по вине „нечестивых священников”, если это уж так важно, конечно. Кстати, по словам Кантора, И.Шайтанов ему подсказал, что в Реформации Чистилища не было. А оказывается, еще как было! „Тезис 25: Какую власть папа имеет над Чистилищем вообще, такую всякий епископ или священник имеет в своей диоцезии или приходе в частности”.

Короче говоря, видимо, не стоило так уверенно утверждать, что Гамлет прибыл в Данию именно во времена ранней Реформации... Но тут, видимо, Кантору плохую услугу оказала его идея, высказанная в беседе с С.Медведевым: „У Достоевского „А” никогда не равно „А”, и вообще непонятно, чему оно равно. Оно равно какому-то

⁸ Тут, между прочим наш Автор упустил еще одну замечательную возможность: в пьесе сказано, что Гамлет был тучным („жирным”). Теперь такого Гамлета не увидишь: он уже давно всегда стройный молодой человек. А ведь источником у этой тучности могла быть все та же причина: „время, вышедшее из пазов”. Тело тоже может выйти из пазов... Кто знает, может, когда-нибудь, найдется режиссер, который не побоится показать нам тучного, не очень „красивого” Гамлета...

потустороннему совершенно пространству.” Вот и Гамлет Кантора оказался в „потустороннем совершенно пространстве”, в котором „А” никогда не равно” самому себе... А где потустороннее пространство, там и время потусторонне: поди разбери, в каком времени ты оказался...

Попробуем теперь обратиться к главе Бердяев о Достоевском: теодицея и свобода, присмотримся повнимательней к тому „пространству-времени”, в которое нас „поведет” исследовательская мысль Владимира Кантора.

Главная концептуальная схема, собственно, та же, что и в главе, посвященной Гамлету. Если детоводителями Гамлета были отцы протестантизма (плюс целая группа писателей и философов, почему-то исключая Кальвина), то детоводителем Бердяева является сам Федор Михайлович Достоевский (плюс немалая группа писателей и философов). Можно сказать, что книга нашего Автора – тщательно подготовленное торжественное шествие ко Христу деятелей мировой литературы... В ситуации с Гамлетом мы убедились, что близость Гамлета к протестантизму не оказалась спасительной настолько, чтобы довести Гамлета до трона, что же касается вопроса о преданности Гамлета Христу, он как-то не стал главным вопросом в размышлениях потомков о Гамлете... Возможно, что книга нашего Автора переломит ситуацию, но мы постарались показать, что в случае конкретно с нами это не удалось. Теперь попробуем разобраться в том, удалось ли Ф.Достоевскому привести ко Христу Н.Бердяева? Речь идет, разумеется, о Достоевском и Бердяеве *философа* Кантора...

Наш Автор так прямо и говорит:

Близость Бердяева Достоевскому настолько очевидна – в страстности, в неприятии тоталитарного и массового психоза несвободы, в попытке увидеть трансцендентную реальность за приметами земного бытия – что уже сама эта близость становится загадкой, ибо она не была подражанием, повтором, а внутренним проникновением в ту же проблематику человеческого бытия, которой был одержим Достоевский” (315).

Если близость Бердяева к Достоевскому была „внутренним проникновением в ту же проблематику человеческого бытия”, то в чем же заключается сама идея *детоводительства* ко Христу, в чем заключалась роль Достоевского? Короче: привел ли Федор Достоевский Николая Бердяева ко Христу? И какого рода внутреннее родство

мы наблюдаем между Бердяевым и Достоевским: такого рода, на какой указал нам Автор („неприятие психоза несвободы” и так далее), или это родство какого-то другого свойства, и если „какого-то другого”, то какого же именно?..

Вот Кантор цитирует Бердяева: „Я написал книгу, в которой не только пытался раскрыть мирозерцание Достоевского, но и вложил очень многое от моего собственного мирозерцания” (413). Заметим, что уже тут, во введении в самую суть обозначенной проблемы, невольно возникает вопрос: насколько послушным („детоведомым”) по отношению к своему „детоводителю” был Бердяев, если он *сознательно* вложил свое мирозерцание в мирозерцание Достоевского? Мы несколько не возражаем против самого этого факта, он имеет полное право быть, но как тут не признать, что и принц Гамлет в идеи Лютера-Меланхтона-Кальвина вложил немало от *своего* мировоззрения! Тема учителя и ученика, затронутая книгой Кантора, оказалась чрезвычайно интересной сама по себе...

Итак, начнем со слов нашего Автора о стремлении и Достоевского и Бердяева „увидеть трансцендентную реальность за приметами земного бытия”. Мы не совершим никакого святотатства, если к этим двум именам прибавим и имя Шекспира. У Шекспира представителем „трансцендентной реальности” был Призрак отца Гамлета. У Достоевского это был Черт. Мы помним, что „Черт” Шекспира двоился – на Призрака (нечто загадочное, мощное) и на Клавдия (нечто гораздо более мелкое, хоть и „трансцендентное” в силу заложенной в этот образ чертовщины), но, тем не менее, слишком посястороннее для некоего мистического ореола. У Достоевского то же самое: Черт Ивана Карамазова двоятся на всекосмического черта, этакого вселенского Сатану и, в то же время, на черта мелкого, обитателя карамазовской души, который претендует на роль „священника”, изгнанного из храма, и поселившегося в отдельном сознании, диктуя этому сознанию свои довольно банальные соображения, как бы пародируя того самого священника, который некогда поселился в груди Гамлета.

Что Бердяев говорит о героях Достоевского? „Единственное серьезное жизненное дело людей Достоевского есть их взаимоотношения, их страстные притяжения и отталкивания” (315). Не значит ли это, что герои Достоевского постоянно искали друг друга, мучи-

тельно вглядывались один в другого?⁹ Это очень важное наблюдение Бердяева, потому что оно наводит нас вот на какое размышление: ведь получается, что *впивание* друг в друга, желание проникнуть в другого человека в качестве единственно важного *жизненного дела* есть нечто очень опасное, и даже страшное... Строить свою *жизнь* на проникновении в другого? В этом есть что-то вампирическое... Это называется высасыванием энергии... Если дело обстоит именно так, то получается, что человек человеку – вампир; человек человеку – паук... Бердяев буквально подчеркивает: „Никакого другого “дела”, никакого другого жизненного строительства в этом огромном и бесконечно разнообразном человеческом царстве найти нельзя” (315).

Вообще-то, это не так: есть дело у Раскольникова, есть дело у Сони (как заработать на кусок хлеба), есть дело у Рогожина (как скорее промотать отцовское наследство), есть дело у князя Мышкина – обустроиться в Петербурге, у кого угодно есть дело, но нам важно то, что Бердяев буквально с порога отмечает именно эту занятость *делом*, для него важна эта оторванность людей от их простейших, очевиднейших и важнейших обязанностей, первейших забот о хлебе насущном. Их хлеб насущный – *другое я...* Ну вот и выходит: уж коли так, то остается только одно: плести паутину заговора против какой-нибудь „мухи”, или всех „мух” сразу, а то – и то и другое вместе... Плетенные интриги – и есть „жизненное строительство”...

„Всегда образуется какой-нибудь человеческий центр, какая-нибудь центральная человеческая страсть, и все вращается, кружится вокруг этой оси” (315). То есть, наматывается кругами паутина. „Человеческий центр”, „человеческая ось”, „центральная человеческая страсть” – это центр той самой паутины из человеческих отношений, которая скушает и тоскует в случае, если в самом ее центре не сидит *паук*, таким образом охотящийся на своих жертв... „Образуются вихрь страстных человеческих соотношений, и в этот вихрь вовлекаются все, все в исступлении каком-то вертятся”(315). Кто как. Одни страстно, другие не очень, и даже как-то неохотно... Вспомним Гамлета, который то закипал, то стихал, становился вялым, то опять вдруг оживал... У Шекспира тоже далеко не все „вертятся в исступлении”, в этом было бы что-то противоестественное... Так что далеко *не все*, и если „вертятся”, то не постоянно... Героям Достоевского тоже свой-

⁹ Прямо как Гамлет Грамматика, который отличался необыкновенной проницательностью, умел всматриваться в людей, „прочитывать” их.

ственно впадать в апатию, становиться какими-то вялыми... Казалось бы сам Бог велел нашему Автору обратиться к Ю.Айхенвальду, к его критической музе, дабы найти в ней поддержку столь важному наблюдению Бердяева:

преступное искони таится и бродит в глубине нашего духа. Внутренний преступник, Раскольников, с топором в трепещущих руках, под гостеприимным кровом душевной ночи, ждет, беспощадно ждет удобного мгновения, чтобы совершить свое кровавое дело. И самый рок наш состоит в том, что мы встречаем на своей дороге тех, над кем разразится наша преступность. Мы сами не знаем, как мы страшны и какое злодеяние держим в себе наготове.¹⁰

Между прочим, вот и ответ на вопрос о пространстве „Лобачевского, Римана” у Достоевского. Ни Римана, ни Лобачевского тут не требуется, достаточно „психики, которая одерживает победу над психологией” (выражение Айхенвальда). Эта точка зрения Айхенвальда кажется едва ли не дикой, но не будем спешить с выводами, давайте вернемся к анализу „Гамлета”, проделанному Кантором. Уже почти в конце главы о Гамлете он цитирует отрывок из статьи Л.В.Карасева, в которой тот пытается доказать, что Гамлет отнюдь не столько защищался, сколько напал, убивая одного за другим тех, кто его окружал, включая короля и королеву... И вот, как бы насытившись смертями этих людей погибает сам, да и то случайно. Тут есть один тонкий момент. Карасев говорит о том, что Гамлет очень внимательно всматривался в лица его окружающих и вот люди, которые „удоставались” такого внимания и погибали один за другим. Это, конечно, звучит как произвольная фантазия Л.В.Карасева, но у Саксона Грамматика, например, Гамлет был именно таков: он никого не убивал своим взглядом, однако был очень тонок в определении характера и происхождения людей, чем буквально поразил английского короля, причем настолько, что стал его другом. Будем помнить, что хроника Грамматика – выдающееся произведение, из которого Шекспир взял очень многое, настолько *многое*, что ответ на тот или иной вопрос очень часто стоит искать именно у Грамматика. Дело в том, что Кантор, будучи христоцентристом, да еще на стороне протестантов, да еще не просто протестантов, а довольно „ортодоксальных” протестан-

¹⁰ Ю.Айхенвальд: *Силуэты русских писателей*. Москва 1994, с.251. В дальнейшем страницы указываются в конце цитаты.

тов, скажем так, категорически против магии, для него всякая магия – ведет прямо к Антихристу (откуда и осторожность Гамлета). Одним словом, всякая попытка усомниться в моральных достоинствах Гамлета для нашего Автора – оскорбление:

Что ж, попробуем принять такое издевательство над Гамлетом”, пишет он, объясняя это „издевательство” вот таким образом: „...надо верить тому, что пишет Шекспир, и спокойно идти по его следам, просто внимательно читая то, что он написал, без домыслов, без постмодерна, ибо искусственность и жеманство сам Шекспир высмеивал не раз (44).

Интересно, относит ли наш Автор критика Ю.Айхенвальда к постмодерну, ведь очевидно же, что „айхенвальдовское” толкование Достоевского звучит абсолютно в духе постмодерна. Но сначала еще несколько слов о Гамлете, а точнее, о Л.Карасеве, который очень задел христианские чувства нашего Автора критикой Гамлета, якобы чрезмерно увлекшегося своими наказаниями, кажется, вовсе и не спешил убить Клавдия: „Казалось бы, убей Гамлет своего врага и делу конец”. Эти слова Л.Карасева, прямо-таки лично задели Кантора, заметившего по этому поводу: „Просто убить мог бы одноклеточный язычник, но никак не христианский воин, не студент Виттенбергского университета” (43). Нам сразу пришел на ум Раскольников, но „первое Раскольникова” пришло на ум другое: профессор Петербургского государственного университета, специалист по Наполеону, недавно убивший свою студентку, тоже убил ее не „просто так”? Как профессор такого известного университета он вряд ли принадлежал к „одноклеточным”¹¹, в смысле „многоклеточности” он должен был сильно превосходить Раскольникова, которому, между прочим, как-то не пришло в голову расчленять трупы своих жертв и топить их в Фонтанке.

И тут у нас, конечно, возник вопрос к Автору: но неужели среди язычников были только „одноклеточные”? Мы уж молчим про Сенеку, Цицерона, ведь „язычником” был и сам Горацио, друг Гамлета (не говоря о друге Шекспира Кристофере Марло, который был и во-

¹¹ Честно говоря, именно такое впечатление он произвел на меня. Особенно какой-то член администрации СПбГУ, который защищал самую идею принять на работу этого туповатого монстра. Многоклеточная профессура бежит из российских университетов.

обще атеистом). Кантор даже упомянул И.Шайтанова как человека, который заметил страшную опечатку в переводах, издаваемых с тридцатых годов, когда Горацио вместо того, чтобы сказать „Я римлянин, не датчанин душой”, произносит полный абсурд: „Я римлянин, но датчанин душой”¹². Хорошо, что Шайтанов заметил эту опечатку, но особо радоваться не стоит: ведь тем самым ряды одноклеточных (то есть, тех же „язычников”) увеличились. Так о чем же идет речь? А все о том же: об *одноклеточных* и, скажем уже от себя – о *многоклеточных* тоже. Речь идет о фразе Айхенвальда „Мы сами не знаем, как мы страшны и какое злодеяние держим в себе наготове”. Я полагаю, что если мы отнесем критика Айхенвальда к „многоклеточным”, мы не ошибемся. Мне кажется, тут сформулирована и вообще главная идея Достоевского о том, что такое человек, но к этому у нас будет время вернуться. Возвращаемся к формулировкам Бердяева: „Вихрь страстной, огненной человеческой природы влечет в таинственную, загадочную, бездонную глубину этой природы” (315).

Вам, дорогой читатель это ничего не напоминает? „Неожиданно я узрел какое-то не трехмерное пространство, а пятимерное, десятимерное”... Или: „Оно равно какому-то потустороннему совершенно пространству”... И Бердяев, и наши замечательные собеседники уж очень мистифицируют пространство Достоевского в отличие от Айхенвальда, для которого все гораздо проще: „Мы сами не знаем, как мы страшны и какое злодеяние держим в себе наготове”. Айхенвальду не нужны ни Риман, ни Лобачевский, ни Альберт Эйнштейн, у него уже есть знание о двойственности человеческой природы.

Фраза Достоевского „дьявол с Богом борются, а поле битвы – сердца людей”, не более как метафора... И наши собеседники, в компании с Риманом, Лобачевским и Бердяевым смотрят на героев Достоевского через призму этой метафоры: вон, смотрите, завертелись в вихре Бог и дьявол, поди разбери, кто задел тебя своим кафтаном в этом бешеном танце... Гамлет пытался построить царство Христово, хотя бы дойти до него хотел, и герои Достоевского хотят того же: они сосредоточены не на жизненном строительстве, а на этом бешеном танце (с саблями?) и именно поэтому движений много, а движения нет, ибо в чем же его смысл?.. И читатель сосредоточен не на героях,

¹² Хотя, не такой-то уж это и абсурд: да, я стойк, но прежде всего сын своего отечества, за которое переживаю не меньше всей этой дряни, захватившей власть.

не на „А” и „Б” Льва Толстого, а на том, что эти самые „А” и „Б” видят *перед своими глазами*, только с той разницей, что приписывают это не себе, не своим глазам, а глазам *другого*... Они смотрят на этого другого каждый из глубины своей слепоты, своего подполья, своей, (по Айхенвальду), второй природы... Ибо каждый – воспринимает себя как подпол, по „потолку” которого, уже с той стороны, сверху, ходят *настоящие* люди, те самые „Боги” и „дьяволы”, о которых можно составить суждение по их передвижениям, выдаваемым стуками их каблуков... Это ситуация знаменитой Платоновой пещеры... Она легко узнаваема в поэтике Достоевского... Лев Толстой смотрит на мир точно так же, как и мы с вами, дорогой читатель, он знает, что человек не ангел, но он знает, что исходя из *низкого, темного* в области именно *жизненного строительства* далеко не уйдешь... Жизнь нужно строить, перешагивая через сложности своей природы... Сосредотачиваясь на лучшем в себе, умея отличить главное от второстепенного... А не поэтизируя все темное и подчас абсолютно гадкое, что есть в нашей природе, ее, так сказать, *постмодернизм*...

И Кальвин, и Лютер говорят: малейшее ложное движение твоей души и оскорбленный Бог накажет тебя смертью... Замри, не шевелись, не ищущай Господа... Вот видишь как мелькают перед тобой эти две фигуры, борющиеся за душу человека, так постарайся приблизиться к этой ярко вылепленной группе со стороны Бога... Вся эта религиозная метафорика очень устраивает Кантора, ибо с максимальной полнотой воплощает его отношение к *жизненному строительству*... Большая ловкость требовалась от Гамлета в его детоводительстве ко Христу, не меньшая требуется и от героев Достоевского... Одним словом, Достоевский у Кантора – детоводитель не к Богу, а к Достоевскому и, как нам кажется, именно поэтому наш Автор не больно-то жалуется Айхенвальда, почти на него не ссылаясь, а тот, между прочим, вдобавок к нами уже цитированному, писал вот что:

От своих и чужих страданий, от своей безумной любви к страданию Достоевский искал спасения в Боге, и он страстно о нем говорил, глубоко Его доказывал, *но сквозь все эти убежденные речи все же чувствуется не заглушенная тревога, мучительная, отчаянная, - тревога о том, что, может быть, Бога и нет; может быть, вечность представляет собою нечто вроде бани с затканными паутиной стенами... ..Синтеза в нем не произошло; не исцелилась его растерзанная душа”* (253).

Если „сквозь убежденные речи чувствуется не заглушенная тревога”, значит этим речам не хватает убедительности. И что значит фраза „от своей безумной любви к страданию”? Ведь это же мазохизм. Айхенвальд тут как раз и говорит о „десятимерности” Достоевского: безмерность любви к Богу прямо пропорциональна безмерности той боли, которую жизнь, данная ему Богом, может причинить человеку... В этом рассуждении понятие „безмерность” имеет два измерения: как наличие меры, так и принципиальное ее отсутствие. Оказавшись в эпицентре борьбы и даже в роли некоего „поля битвы”, задыхаясь в пыли, поднятой сапогами Бога и черта, человек лишается измерений... Разве не видно, что человеку Достоевского трудно понять чего в его душе больше – боли или любви? Он мечется не между добром и злом, а между дикой, невыносимой болью и минутами передышки от этой боли. Тут Достоевский возражает Богу не своими идеями, рассуждениями, а своими героями. Разве не видно, что „неодноклеточный” Раскольников просто обезумел от боли? Весь Достоевский о том, что есть возражение, идущее к Богу как бы от *людей*, но есть и другое – идущее от *самой боли*, от страдания *невыразимого* словом человеческим... Именно в *самой этой* боли прячет Достоевский свой самый главный аргумент – невозможность внятной выраженности отношения человека к Богу... Наш Автор обращается к читателю с оптимистическим призывом: изображая – понимай... Достоевский обращается прямо к Богу: я изображаю, но вот понимать то, что я изображаю, отказываюсь... И, конечно же, именно такая позиция писателя категорически не устраивает Вл.Кантора, ибо вопреки своей блистательной критике тоталитаризма, блистательных попыток объяснить упадок современного общества, крушение всех возможных ценностей, он остается точно таким же идеологом, как и Бердяев со своей философией... Только вместо „антимарксизма” наш Автор использует идею христианства, которой хочет как бы вернуть ее ведущие позиции в мировой идеологии. Вот он завершает цитату из Бердяева: „Там раскрывает Достоевский человеческую бесконечность, бездонность человеческой природы. Но и в самой глубине, на самом дне, в бездне остается человек, не исчезает его образ и лик”(408).

Да, остается, но сам же Кантор помог нам определить этот образ и лик: одноклеточный язычник... „Там”, на дне – царство одноклеточных... Целую главу своей книги наш Автор посвящает Францу Кафке, но не замечает самого главного: наш *национальный* Кафка

это именно Достоевский. И когда наш Айхенвальд говорит: „Мы не случайно убиваем, а случайно не убиваем” (251), он лишь формулирует самую главную мысль Достоевского: внутри каждого из нас сидит Грегор Замза, не тот, который Холстомером Толстого бегаёт на службу, а тот, который может бегать и по стене, шурша перепонками. Грегор Замза действителен в обеих своих ипостасях: до превращения и после... Трагедия в том, что хомо сапиенс этим процессом не управляет. Управляет некая неведомая сила.

Вот Кантор приводит цитату из П.П.Гайденко: „Понятие личности отличается у Бердяева от понятия эмпирического человеческого существа, которое составляет, с одной стороны, часть природы, а с другой – элемент социального целого” (318). Если Гайденко права, то получается, что у Бердяева „эмпирический человек” априори не обладает личностью. Таким образом, устанавливается существование двух видов хомо сапиенса – „эмпирического” и „собственно *личности*”... Это нам кое-что напоминает. Не идет ли тут речь о человеке-базисе и человеке-надстройке? Себя, по всей вероятности, Бердяев относит к человеку „надстроечному” (социальному). Мы тут не можем удержаться от некоторого недоумения: не слишком ли однобоким является такой человек? Социальность без эмпирики точно такая же невозможность как и эмпирика без социальности. П.Гайденко:

Эмпирически существующий человек, взятый с природной своей стороны, как наделенный определенной телесно-душевной организацией, есть, по Бердяеву, *не личность, а индивидуум*. В качестве последнего он имеет и свои социально-культурные особенности, отличающие его от других индивидов, принадлежащих другим общественным организациям (318).

Нам тут совершенно неясно, что имеет в виду Бердяев под понятием „другой общественный *организм*”, как, впрочем, неясно и другое: что имеет в виду философ, говоря „определенная телесно-душевная организация”. Ведь получается, что речь идет все о том же: о базисе (эмпирика) и надстройке (социальность)... Все эти наукообразные термины смущают нас своей расплывчатостью, неопределимостью... А поскольку Бердяев объявлен последователем Достоевского, то, естественно, все эти его самоопределения мы экстраполируем на его „детоводителя”, хотя помним слова „ведомого” о том, что в мирозерцании Достоевского он „вложил многое от себя самого”. Полу-

чается, что и Достоевский делил хомо сапиенсов на общественные организмы, отличающиеся друг от друга „социально-культурными особенностями”... Обращаться к Достоевскому за разъяснениями нам как-то неудобно, а что этим хотел сказать Бердяев не очень понятно... Нам не очень понятно к какому „общественному организму” относятся „личности” – к такому, в котором никто не занят „жизненным строительством”, или к какому-то другому „общественному организму”? Каковы способы общения между этими организмами? Впрочем, теперь нам хотя бы ясно, как нам относиться к Родиону Раскольникову: это *личность* („надстройка”), которая случайно провалилась в „базис” и, в силу естественных причин, тяжестью своего физического тела, случайно раздавила двух „особей”, двух человеко-муравьев...

Пожалуй, тут была бы уместна ссылка не на Гофмана, конечно, а на Ницше, на его сверхчеловека (или скажем так – на его *высшего* человека)... Такая ссылка, конечно, увела бы нас далеко в сторону от собственно религиозного пафоса нашего Автора, но и внесла бы некоторую ясность в проблему религиозного пафоса Достоевского: в его нищестанство до Ницше¹³, в свете которого, конечно же, идея детоводительства ко Христу воспринималась бы читателем Кантора уже несколько иначе, под более критическим углом. Грех (то есть страшное уголовное преступление) Раскольникова прощается ему в силу того обстоятельства, что он принадлежит к высшей касте: „Индивидуальность или особь принадлежит природному миру и разделяет с ним рабство и смертность”.

Личность, стало быть, принадлежит сверхприродному миру. Чем же не Франц Кафка? Представитель высшей „расы” Раскольников, в силу невольной своей „эмпиричности”, на какое-то время превратился в насекомое, за себя, стало быть, не отвечал... Но тут возможны и другие ассоциации: нам, например, невольно пришла на ум мысль о такой „индивидуальности” и „особи” как баснописец Эзоп: ведь он тоже был и „рабом”, и „смертным”, тоже принадлежал к „природному миру”, но вот умудрился же человек при этом никого не убить, умудрился остаться „личностью” до самого своего конца... И Ницше, и Эзоп спутали нам все карты, тем более, что Бердяев, стремясь углубить свою мысль, сделать ее более убедительной, в своих рассуждениях идет дальше: „Поскольку, таким образом, индивиду-

¹³ Тут уместно вспомнить, с каким восторгом воспринял Ницше *Записки из подполья*.

ум подчинен природным и социальным законам, он является предметом изучения специальных наук – биологии, психологии, социологии”. Что же касается личности, то она, согласно Бердяеву, есть реальность духовная, а потому “никакой закон к ней неприменим”.

Даже моральный закон? Кальвину такое высказывание знаменитого русского философа явно бы не понравилось. Ведь получается, что он, Бердяев, ведомый Достоевским ко Христу, не должен стоять за такую личность у Достоевского, которая сама себе господин (сама себе „свобода”). А как же пресловутый „священник”, который жил в груди принца Гамлета? Ведь этот „пресловутый” священник был ни кем иным как воплощением самого Кальвина, который хотел, чтобы верующие воспринимали его рассуждения как глас самого Господа Бога (то есть – „реального” священника). И как же озабоченность нашего Автора „первоначальной евангельской чистотой” протестантизма?.. Если не в груди Раскольникова, то в груди нашего Автора должны были звучать вот эти слова Кальвина: „нам указано, что мы обязаны покоряться игу Господа, ибо чудовищно уклоняться от власти Того, вне которого мы не можем существовать” (Кальвин, *Первая заповедь*, 13). А тут получается так, будто „личность”, прославляемая Бердяевым, прославляемого нашим Автором, уклоняется именно от „ига Господа”... Правда, в этом случае получается, что Бердяев, действительно, привел нас ко Христу: ведь единственный, к Кому может относиться в этом случае понятие „личность”, так это только к „Господу”! И впрямь: ну как можно к Господу подходить с мерками „биологии, психологии, социологии”, как подходить к Нему со своими эмпирическими законами?

Таким образом, с помощью Бердяева Кантор пытается объяснить нам тот факт, что Достоевский, в свете абстрактной римано-лобачевской геометрии был по отношению к русской литературе чем-то вроде „личности” по отношению к „индивидам”: „Достоевский действительно не отражал быт, он выражал смысл русского миропонимания, которое не было узконациональным (как, скажем, у Льва Толстого), а „всечеловеческим”, как у Пушкина”(316). Достоевский, конечно же, „отражал быт”, и еще как отражал, но отражал и другое – отражал быт духа, его житейскую прозу, его мелочные заботы, его интимные, непарадные стороны, проникался его непарадными интересами и временами даже слишком этим увлекался, о чем очень хорошо сказано у Айхенвальда: „И днем и ночью его герои живут усилен-

но, слишком живут. Они страдают гипертрофией души. ...В своей гиперболизации духа он не считается с тем, что, в сущности, людям души отпущено в меру. ...Кипение духа доводит он до предельного градуса” (246).

И здесь, между прочим, Айхенвальд совпадает с Бердяевым, говорившим о том, что у Достоевского вместо „жизненного строительства” люди вихрем носятся друг за другом, то есть, скорее, занимаются жизненным „расточительством”. Но если у Айхенвальда это нечто избыточное, людям, в общем-то не очень и свойственное, то у Бердяева это нечто для людей естественное. Но и здесь есть одно тонкое отличие: у Бердяева в это вихревое вращение, в это впивание в *другого* заложена какая-то чертовщина, нечто от гофмановских фантазий, а у Айхенвальда это *психика*, нечто естественное, *природное*, некая *естественное* состояние... У Айхенвальда этим самым герой Достоевского как бы занижается, личность распадается на свои собственные, заложенные в нее природой, противоположности. У Бердяева наоборот: таким образом герой как бы *возвышается*, очищается, вырастает до статуса *личности*.

И тогда получается, что Татьяна Ларина это „всечеловеческий” образ, это „*личность*”, а Наташа Ростова – „узконациональный образ”, „индивидуум”. Иван Карамазов принадлежит одной человеческой организации (точнее – „всечеловеческой”), а Андрей Болконский или Пьер Безухов – принадлежат другой „общественной организации”, какой именно, правда, мы не знаем, этот пункт нашим Автором не поясняется, но видно же, что „организация” тут „пониже”, поплоче... Одним словом, на пьедестале Олимпа Пушкин и Достоевский оказались обладателями „золота”. Толстому на высших ступенях пьедестала места не нашлось. Конечно же, под словом „организация” тут, скорее всего, подразумевается не какой-то институт, а *организация* (самоорганизация) мышления, принцип видения. Вот и здесь наш Автор старается быть *философом*, тем самым создавая для себя неожиданные трудности. В самом деле: он говорит, что „Достоевский выражал смысл русского миропонимания”, которое было „всечеловеческим”... Озабоченность Акакия Акакиевича проблемой воротника для шинели имеет прямое отношение и к проблеме быта и к проблеме „общечеловеческого”... В том-то и заключается смысл искусства, чтобы в царстве „материальной” действительности растворить духовное, а в царстве духовного растворить *бытовое*, прозаическое, „мате-

риальное"... Грубо говоря, в Башмачкине просвечивает образ Гоголя, а в Гоголе просвечивает образ Башмачкина...

Кантор о Бердяеве:

А уже давно он написал: „В тысячу раз более народом был дворянин Пушкин или интеллигент Достоевский. Самого совершенного и высшего своего выражения нация достигает в гении. Гений всегда народен, национален, в нём всегда слышится голос из недр, из глубин национальной жизни. Дух нации всегда выражается через качественный подбор личностей, через избранные личности (427).

А разве нельзя быть интеллигентом и дворянином одновременно? Разве понятие „всечеловеческое" несовместимо с понятием „узконациональное"? Разве понятие „быт" несовместимо с понятием „русское миропонимание". Гоголь просвечивает в Акакии Акакиевиче, а Акакий Акакиевич просвечивает в Гоголе. Макар Девушкин просвечивает в Достоевском, а Достоевский в Макаре Девушкине. „Качественность" Акакия Акакиевича отнюдь не заключалась в его „избранности". Наоборот, она заключалась в его *обыденности*, в совершеннейшей, казалось бы, случайности его существования. Каким-то чудом он попал в кругозор Николая Гоголя. Вот это чудо *выбранности*, чудо *увиденности*, чудо эстетического чутья, чудо уловления конкретного факта в сети всеобщности, умение разглядеть закономерное в случайном, и есть чудо искусства. Все искусство именно об этом. Если наш Автор прав, то получается, что он проделал все наоборот, то есть – как бы увел Бердяева из-под опеки Достоевского. Как нам кажется, разница между Достоевским и Бердяевым заключается в том, что первый не считал себя „в тысячу раз более народом, чем сам народ". В этом отличие гения Достоевского от талантливого Бердяева. Дух нации выражается через всех, иначе никакого *духа* не было бы и в помине, ибо откуда же взялись бы „избранные личности"? Пушкин не был „более народом", чем любой из его мужиков. На примере сегодняшней истории это особенно хорошо видно: дух так же глубок как и океан, а это значит, что его флора и фауна столь же разнообразна, сколь и закономерна, естественна в любом своем варианте. Вот таким „более, чем народ" хотел стать Раскольников, но Достоевский со своим героем, как мы помним, не согласился... В любом случае, „выпрыгнуть из океана" этому герою не удалось. Искусство исходит из того, что *каждый* человек избран, и величие художника заключается не

в том, чтобы отделить „быт” от „всечеловеческого”, а в том, чтобы прославить их единство, их кровную связь, которая именно поэтому постоянно чревата кровью в самом прямом смысле, почему тут и требуется внимание со стороны искусства (как и внимательное отношение искусства к самому себе).

Еще одна цитата из Бердяева: „Я русский мыслитель и писатель. И мой универсализм, моя вражда к национализму русская черта“ (409). Но ведь Бердяев не был *единственным* русским писателем и мыслителем. Более того, уж если он так настаивает на своем „универсализме”, то почему бы под этим термином не подразумевать терпимость даже к такому явлению как „национализм”? Кому как не *мыслителю* задуматься над корнями этого явления? Объяснять свою неприязнь к национализму своей русской национальностью выглядит немного странно, особенно в свете того, что он постоянно помнил и о своих французских корнях, которыми немало гордился. Если бы вместо „моя вражда” он сказал „мое *понимание*” национализма, это было бы нам более понятно. Разве не очевидно, что дело тут не столько в его русской национальности, сколько в его сословном происхождении: „как человек образованный, принадлежащий к высшему сословию я, конечно же, обладаю более универсальным подходом к другой нации, к другой культуре...”. Что-то вот в этом роде...

Бердяев: „Я всегда был ничьим человеком, был лишь своим собственным человеком, человеком своей идеи, своего призвания, своего искания истины. [...] Я совсем не поддаюсь коллективной заразе, хотя бы хорошей. Мне совсем неведомо слияние с коллективом. В экстаз меня приводит не бытие, а свобода” (416). „Своим собственным человеком”? А как же принадлежность к русской нации? И более того, обязанность именно этой принадлежности своему „универсализму”? В экстаз приводит не бытие, а свобода? Но коли уж так, то почему бы не прийти в экстаз от „узкого национализма”? Наш Автор совершенно не замечает всех этих противоречий. Кантор: „Несмотря на гениальное самоназвание „ничей человек”, на утверждение, что он не примыкал ни к каким группам, что ему неведомо слияние с коллективом (и тут он не погрешил нисколько против истины), но при этом он был поразительно общественным человеком” (319). С одной стороны, ему „неведомо слияние с коллективом”, но, с другой, – „был поразительно общественным человеком”. И что это значит „ничей человек”? Какой же „ничей”, если сам же и признался в необык-

новенно высоком благородстве своих предков? Жан Кальвин такое бы не одобрил: если „ничей”, то, стало быть, не сын своей матери и своего отца, не учитель своих учеников и не ученик своих учителей! Не собеседник своих читателей, не муж своей жены... И, главное, какой же ты верующий, если не считаешь себя сыном Божиим?.. Кальвину бы это очень не понравилось!

Проблема Кантора как ученого-исследователя заключается в том, что, признавая *многомерность* художественного пространства как такового, он не признает разнокачественности измерений, этот пространственный мир образующих. Причем „разнокачественность” означает не просто разнообразие измерений, а их *сложную* глубину, разность этих измерений в самих себе. Экстраполируя многосложность „достоевского пространства” на умственный мир Бердяева, нашему Автору очень важно убедить читателя в том, что Достоевский был детоводителем Бердяева и в собственно философском плане, но и тут Кантора тоже подстерегают трудности: наш „ничейный” человек, как выясняется из рассуждений самого Кантора, в своем движении к знаниям отнюдь не был уж столь „ничейный”: „Ибо опирался Бердяев на европейскую мысль (даже полемизируя с ней), на Канта и Гегеля, на Шекспира, Гофмана, Бальзака. И сквозь все перепады его судьбы, сквозь срывы и взлеты – Бердяева провел Достоевский, который стал камертоном его творчества” (317).

Как видим, своему универсализму философ был обязан не только своей национальностью, но и влиянию как отечественных, так и европейских выдающихся умов¹⁴. Фразу Кантора „опирался на европейцев, а камертоном избрал русского писателя” можно легко перевернуть: „камертоном избрал европейцев, а опирался на Достоевского”. А если мы вспомним фразу: „я вкладывал в его мировоззрение многое от себя”, то рассуждение Кантора можно проинтерпретировать и в более радикальном смысле: „опирался на европейцев, а камертоном избрал *самого себя*”. И если мы вспомним о роли „священника” во внутренней жизни Гамлета, то отождествление Бердяева с Достоевским не покажется нам чем-то невозможным. Во-всяком

¹⁴ Пушкинский Сальери, рассуждал точно так же: на каких только гигантов не опираюсь я в своем искусстве, включая самого Гайдна, а этот мальчишка, это бесшабашное существо зачеркивает все мои усилия... Отнимает от меня мою славу! Тоже мне, „гений”, стоит и слушает черт знает кого, какого-то жалкого скрипача, этого Акакия Акакиевича!.. И это вместо того, чтобы лишний час толковать со мной о возвышенном!

случае, именно к этому клонит наш Автор. И Шекспир, и Гофман, и Бальзак это все непререкаемые авторитеты для Достоевского, и Кант для него не был запретной книгой тоже... Но для Кантора очень важно еще и другое: „Сам он полагал, что именно Достоевский тот самый существенный водораздел, с которого началась новая русская философия” (317).

И Кант, и Шекспир, и Гофман, и Бальзак, все это очень хорошо, и важно. Но главное другое: никто из них не мог быть для Бердяева тем, кем оказался для него Достоевский. Это был философ, с которого началась не просто *русская философия*, а русская *религиозная философия*, та самая, которую исповедует сам наш Автор, *диалектически* перенося ее на филологию, на литературоведение. Отсюда и столь высокая награда в виде присвоения ей статуса *новой русской философии*:

Как писали многие, в том числе и западные мыслители, «в конечном итоге действия героев Достоевского определяются религиозными силами и мотивами, под влиянием которых и принимаются те или иные решения. Более того: весь мир Достоевского как “мир”, т.е. *совокупность определенных фактов и ценностей, вся атмосфера этого мира протекают в сущности из религиозного начала* (412).

Это очень тонкое и точное замечание, но *весь Достоевский* в это „измерение”, в эту характеристику не укладывается. Да, ведь видно, что и князь Мышкин не от мира сего, да и Настасья Филипповна сродни этому ангелу, с которым земная связь невозможна по определению, не говоря уже о, быть может, самом знаменитом Черте в мировой литературе, не считая, конечно, Мефистофеля... Однако, что имеет в виду Кантор под понятием „религиозное начало”? Чем именно было это „начало” для писателя? Для Достоевского, и чем оно было для Бердяева? Кантор: „Но тут надо понять, что такое для Бердяева личность, которая несет на себе всю тяжесть понимания мироздания” (317). Сразу скажем: среди людей такой „личности” нет. *Такой личностью может оказаться единственное Существо во вселенной и имя этому Существу – Бог... Но мы, кажется, ошиблись: опираясь на Кальвина, заметим – если „личность не есть частица универсума”, то как же она „покоряется игу Господа”? Если же личность по своим масштабам равна Богу, то с какой стати она должна покоряться „Его игу”?*

Так Бердяев вывел *личность* из-под опеки Господа Бога, а, стало быть, вместе с ним из-под опеки всех отцов протестантизма вместе взятых: „Главной характеристикой личности является ее *свобода*: личность по Бердяеву, не просто *обладает свободой*, она и есть *сама свобода*” (318). Она, стало быть, и есть Бог. Нам нет никакого смысла спорить с Бердяевым, ведь это – *его* философское убеждение... Пусть будет так, но с точки зрения Бердяева, а не нашей. Нам это не только трудно, но и *невозможно* вообразить... И тут мы ближе к Достоевскому, который оперировал не просто философскими истинами, а образами человеческими. А образ человеческий не может существовать отдельно от своей *личности* и, стало быть, не может быть *самой свободой*... Повторим, правда, уже слегка измененный наш перифраз Кантора: камертоном выбираем свободу, а опираемся на свой собственный иррационализм. Это звучит очень близко к знаменитому рассуждению одного из персонажей Достоевского в *Бесах*: начал рассуждать о свободе, а пришел к деспотизму... Большая группа героев Достоевского делится на ангелов и чертей, но все они – пленники своего человеческого образа, своей человеческой оболочки...

Вся эта „свобода” очень напоминает шварцевскую Тень, отделившуюся от своего „хозяина”, или Нос майора Ковалева... Не очень ясно, каким образом такая свобода соотносится с „эмпирическим человеком”. Ведь не можем же мы утверждать, что Раскольников или Иван Карамазов – не „эмпирические люди”¹⁵? Знала бы Алена Ивановна, что перед ней не бывший студент, а сама Свобода, то не спешила бы греметь всеми своими замками, впуская эту („эмпирическую”?) свободу к себе в дом... „Бердяев сам иронизировал в *Самопознании*, что его называют философом свободы, даже кто-то – парадоксальный оксюморон – *пленником свободы*”(318). Оксюморон есть „противоречие”, не замеченное автором, противоречие же, которое *сознательно* допущено автором высказывания с тем, чтобы этим допущением подчеркнуть истинность суждения, называется парадоксом... Если это именно так, то выражение „парадоксальный оксюморон” не кажется нам удачным. Впрочем, мы должны помнить, что пребываем в пространстве, которое само отказало себе в „академиз-

¹⁵ Хотя, теперь мы в этом как-то не очень уверены. Перечитав романы Достоевского уже под влиянием Кантора, мы начали подозревать причастность „эмпирических” Раскольникова и Ивана Карамазова к числу чего-то (или кого-то) фантастического, как бы даже и не вполне „эмпирического”...

ме” (в академичности), ибо нашим Автором сказано: „тема свободы и в самом деле была не просто академической темой научных штудий. Эта тема была выражением его сущностной основы, его экзистенции, что он отчетливо формулировал”. Если его „экзистенцией”, значит самой его *сущностью*... Философ поверяет истинность своих доказательств формой своего собственного существования... Философский текст – форма существования философа... О философствовании Кантора, например, мы судим по его *философии*, по его *тексту*...

Короче говоря, если бы Кантор считал, что „новая русская философия” началась с кружка Станкевича, с увлечения гегельянством Белинского, Герцена, Бакунина и др., то это мнение, безотносительно к тому, верное оно или нет, все-таки, удержало бы нашего Автора от мысли такого мертвого и надутого монстра („поднимите мне веки”) как Ставрогин объявить прототипом не кого-нибудь, а самого Александра Ивановича Герцена. Одного из самых ярких культурных и политических деятелей России девятнадцатого века¹⁶. Герцен и Белинский были атеистами и, конечно же, Достоевского и ведомого им Бердяева надо было срочно отделить от двух столь откровенных критиков православия. Мы знаем, что от кружка Станкевича большими кругами стали расходиться гегельянство и кантианство. От Достоевского же, по мысли Кантора, стала расходиться новая русская *религиозная философия*. И что делает Кантор в качестве адепта этой философии? Он превращает Герцена в... Ставрогина, а это все-равно, что объявить Ивана Карамазова прототипом Смердякова... Хотя, вот и опять же, только мы это произнесли, как нам подумалось: а почему бы и нет? Ведь казуистика невежественного Смердякова о происхождении железных крючьев в аду или о ненаказуемости отречения от веры столь же искусна, как и казуистика университетски (не хуже Гамлета!) образованного Ивана Карамазова в его „богоборческих” примерах... Но, с другой стороны, тут нашего Автора очень легко понять:

¹⁶ Справедливости ради замечу: благодаря монографии Кантора мне пришлось перечитать (с карандашом в руках) в том числе и некоторые работы Герцена. Если бы не рецензируемая книга, я бы не *перепрокрыл* Герцена сегодня. Кстати, именно по этой причине полагаю, что, вопреки общей тенденции книги, монографию надо использовать в качестве учебного пособия на всех филфаках страны. Объявить факультативы, семинары, что угодно, но изучать ее, изучать и еще раз изучать, требуя от студентов, как теперь принято говорить „диалогического” подхода к монографии... Это невообразимо расширило бы их кругозор, углубило бы их критико-теоретическое мышление...

поскольку Герцен был открытым атеистом, то разве не очевидно, что „внутри него” вместо протестантского-то пастора сидел бес (собственно, тот же черт, который прикидывался Смердяковым)? Подмените Ставрогина Смердяковым и все останется на своих местах... Колоссальная известность Герцена в Европе, его умнейшие и талантливейшие книги, его идеи, фантастическая личность, его художественный гений¹⁷ – не помешали нашему Автору смешать этот образ с плоской и мертвой куклой по имени Ставрогин.

Кстати, в этом отношении очень интересно обращение Кантора к Г.П.Федотову: „Опять же стоит сослаться на Федотова: Основная жизненная интуиция Бердяева – острое ощущение царящего в мире зла. В этой интуиции он продолжает традицию Достоевского (Ивана Карамазова)” (317). Что делает Федотов? Он отождествляет Достоевского с Карамазовым. Что делает Кантор? Через Федотова, через огромный (и более, чем заслуженный) его авторитет, наш Автор сближает Бердяева с Карамазовым... Насколько нам известно, Иван Карамазов подстрекал Смердякова к убийству Федора Павловича. И как Раскольников убил несчастную старуху, подстрекаемый абсолютно реальным чертом (дьяволом), выстроенным по лекалам гофмановской поэтики, так и Карамазов был подстрекаем ровно тем же чертом, только уже не прячущимся от читателя в художественных „опосредствованиях”, а как бы „вышедшим из подполья”, явленным читателю уже во всей своей *непосредственности*¹⁸. И, конечно же, – опять Айхенвальд. Вся эта правда о вселении черта в Карамазова очень вяжется с концепцией Айхенвальда о присутствии неявного убийцы в каждом из нас и, стало быть, в подсознании самого Достоевского то-

¹⁷ Ради этой статьи перечитывая кое-что Герцена, невольно читались и соседствующие произведения. И вот вижу повесть (или роман?) *Долг прежде всего* (том VI, *Полное собрание сочинений*). Рекомендую всем и каждому: прочтите, чтобы еще раз убедиться в гениальности Герцена-художника...

¹⁸ Вот почему было так интересно перечитывать *Братьев Карамазовых* после ознакомления с текстом Кантора: лично мне, благодаря настоятельности Автора, стало совершенно очевидно собственно дьявольская сущность Смердякова: и сама его пластика, и ход его мыслей. Да и в поведении Ивана были заметны довольно красочные „пятна”, бросающие дьявольскую тень на его поведение в некоторых сценах. Вот тут-то нашему Автору и обратиться бы к Голосовкеру, у того именно об этом все очень хорошо сказано. Хотя, конечно, какой же „Голосовкер”, если у Кантора Иван Карамазов *тоже* детоводитель ко Христу. Одним словом, лично я очень благодарен Владимиру Кантору за ту идею, которую он мне дал – в каком-то смысле Гофман выступает по отношению к Достоевскому чем-то вроде Грамматика по отношению к Шекспиру...

же, отец которого – человек очень жесткий, был убит своими крепостными¹⁹ и с которым у будущего писателя были очень сложные отношения...

В Герцене не было ничего „гофманианского”, ничего сомнамбулического, ничего от Раскольникова, слепо бредущего с топором в заколдованный лес, чтобы убить злую ведьму... Глубочайшая гениальность Герцена, свет, исходящий от его образа, его подчеркнутый секуляризм, то есть *светскость* настолько поразительны, настолько впечатляющи, что сама идея увидеть его на месте заколдованной куклы Ставрогина, в случае согласия с этой трактовкой, может подвести нас к мысли о творческом провале Достоевского... Но такого провала не было: была победа таланта в умении разглядеть того монстра, который прятался в душе тех бунтарей, которыми Герцен, и впрямь, поначалу увлекся (тут Кантор совершенно прав), потом стал называть их „базароидами” и на отрицательные характеристики которых не жалел красок.

Ставрогин и Петруша Верховенский – это те самые „базароиды”, так раздражавшие Герцена своей пошлостью и тупостью, те самые, кого он называл „вонючими клопами” и „сифилисом революции”... Вот и опять: если бы Кантор с **большим** вниманием (мы уж не говорим „любовью”) отнесся к Герцену, это помогло бы ему увидеть в *Бесах* Достоевского не только Нечаева и прочих „лениных до ленина” (как говорили о Ткачеве), ему удалось бы разглядеть во всем этом жутком карнавале образ революции в ее наипобедоноснейшем воплощении: Достоевский изобразил именно то, что переживал Герцен, который сквозь свою романтическую, радостную влюбленность в молодежь, бросившую вызов самодержавию, сквозь эту „Свободу на баррикадах” Делакруа разглядел страшную и мерзкую, разлагающуюся в гниении тушу – подлого и пошлого „вонючего клопа”. Наш автор упустил прекрасную возможность экстраполировать эту *историко-литературную* ситуацию на современное толкование реальных исторических персонажей и их роли в отечественной истории... Кстати, именно сегодня уместно припомнить, как французская газета, заказавшая Герцену статью, отказалась печатать ее по той причине, что знаменитый русский изгнанник после разгона демонстрации солда-

¹⁹ Тут невольно напрашивается аналогия с Императором Павлом Петровичем.

тами, заявил, что вот в этот самый момент разгона мирной демонстрации солдаты превратились в палачей...

Однако, вернемся к цитате из Федотова, по мысли которого, „Бердяев продолжает традицию не только Достоевского-Карамазова, но также и русской революционной интеллигенции, с которой он столько копий переломал в первые годы своего идеалистического исповедания (период „Вех”)", а „борьба со злом, революционно-рыцарская установка по отношению к миру отличает Бердяева от многих мыслителей русского православного возрождения" (414).

На одной из страниц своей книги Кантор сопоставил с Гамлетом Дон Кихота на том основании, что оба были „воины Христовы". Вот и теперь образ Бердяева дает основания Кантору увидеть в нем „воина-рыцаря". Рыцарь, ломающий копыя в борьбе с революционной интеллигенцией (с ветряными мельницами?)... И как соотнести этого *рыцаря* с Иваном Карамазовым? Не говоря о том, что тут напрашивается и еще одно сравнение, произведенное Кантором – с князем Мышкиным, которого в своем романе *Идиот* Достоевский сравнивает с „рыцарем бедным" из стихотворения Пушкина. Таким образом, критик еще и еще раз формирует целую армию *рыцарей*, готовых двинуться в новый крестовый поход за кубок Грааля... Рыцарей воинства Христова...

И вправду, Бердяев постоянно говорил, что Россия не знала рыцарского начала, начала личности. Говоря о своих истоках, он помнил, что со стороны отца он потомок героических русских офицеров, со стороны матери имел французские корни. Именно это рыцарски-личное начало он реализовал в своем поведении" (317).

Рыцарь благодаря французским корням по женской линии и российскому офицерству по мужской? Вряд ли бы эти аргументы очень сильно подействовали на старца Зосиму. Он бы сразу припомнил кое-что из своего собственного опыта, о чем у нас есть достоверная информация в одной из глав *Братьев Карамазовых*: „Воспоминание о юности и молодости старца Зосимы еще в миру”:

В Петербурге, в кадетском корпусе, пробыл я долго, почти восемь лет, и с новым воспитанием ... принял столько новых привычек и даже мнений, что преобразился в существо почти дикое, жестокое и нелепое. Лоск учтивости и светского обращения вместе с французским языком приобрел, а служивших нам в корпусе солдат считали мы все

как за совершенных скотов, и я тоже. ...Когда вышли мы все офицерами, то готовы были проливать свою кровь за оскорбленную полковую честь нашу, о настоящей же чести почти никто из нас и не знал, что она такое есть, а узнал бы, так осмел бы ее тотчас же сам первый. Пьянством, дебоширством и ухарством чуть не гордились²⁰.

Надо сказать, что в своей книге Кантор много рассуждает о рыцарском благородстве российского дворянства. Про старца Зосиму Автор не вспоминает. Одним словом, образ Бердяева всячески идеализируется Кантором, философу поется панегирик в полном согласии с установкой на воспевание „христианских воинов” в русской культуре: „Поразительно, что он почти всю свою жизнь не испытывал иллюзий” (320).

Возможно, но при этом не говорится о том, как от Бердяева отвернулась, практически, вся русская колония в Париже, пораженная его послевоенной влюбленностью в Сталина, в СССР, его частыми походами в советское посольство... В подтверждение своего высказывания наш Автор приводит цитату из Бердяева, не заметив самого ее духа – духа самовосхваления, увы, не очень даже и тонкого: „Приведу его фразу: я борюсь за свободу, но я не хочу свободы для себя, чтобы не подумали, что я борюсь из корыстных целей” (328). Это как если бы доктор сказал: я борюсь за здоровье, но я не хочу здоровья для себя, чтобы не подумали, будто я борюсь за свое здоровье из корыстных целей... То есть: я, конечно, „ничей”, но не до такой же степени, чтобы не заботиться о своей репутации в глазах *моих* пациентов... Как видим, Кантор очень старается в образе Бердяева „воспеть” *личность*, хочет нам показать, какая глубокая пропасть отделяет эту личность от *индивидов*.

„По Бердяеву, парадокс Достоевского в том, что человек свободен по божественному замыслу, но что свобода эта трагична, возлагает бремя и страдание” (319). Нам очень важно знать: это парадокс *Достоевского*, или парадокс *Бога*? Ведь тут получается, что трагичен (скорее, наверное, *ужасен*) божественный замысел: Бог, так любящий человека, обрек его на страдание, на боль... А если это именно так, то Иван Карамазов, с подсказки Достоевского, возвращающий Богу билет, не желая такой свободы, не желает и такого Бога... Стало быть: Иван до такой степени „ощущает силу царящего в мире зла”,

²⁰ Ф.М.Достоевский: *Собрание сочинений в 10 томах*. Том 9: *Братья Карамазовы*. Москва 1958, с.370.

что не может Богу это зло простить... Но куда же, в этом случае, Достоевский привел нашего философа Бердяева и куда смотрел наш Автор, допустив такого рода казус?..

Как „куда”? В сторону *избранных*: „Попробую выдвинуть основной тезис своего текста. У Бердяева теодицея только для личностей. Массы находятся вне божественных законов и божественной благодати” (курсив Автора, с.326). Ну хорошо, это у Бердяева, а что думает по этому поводу наш Автор? А он, кажется, с этим совершенно согласен, ибо продолжает: „Так он почувствовал мир (может, через Достоевского). Массы боятся свободы. А свобода – это дар Божий. В восстании масс – эрзац-свобода” (курсив Автора, с.326). Нам как-то боязно с этим соглашаться. Мы этому не верим: разве *Записки из мертвого дома* про то, что эти каторжане не знают что такое свобода? Разве они – эрзац люди?... И как же быть с Лютером, который писал:

Бог есть Бог униженных, несчастных, отчаявшихся и тех, которые обращены в ничто. Его природа в том, чтобы подымать униженных, питать голодных, возвращать зрение слепым, утешать несчастных и печальных, оправдывать грешников, воскрешать мертвых, спасать проклятых и утративших надежду и т.д.²¹

Если „спасать проклятых”, то не значит ли это, что спасать надо и тех, от кого отвернулся Бог? Мысль Лютера тут очень глубока, он хочет сказать, что чем *глубже* наше обожание Бога, тем ближе просматривается в этом обожании мотив богоборчества. Этой диалектике нас учит история с Иаковом, который не побоялся бороться с Богом... Лютер:

Он ведь всемогущий Творец, из ничего творящий все. Но до этого существенного и собственного дела Его не допускает зловреднейшее чудовище – самомнение праведности, которая не хочет быть грешной, нечистой, жалкой и проклятой, а справедливой и святой и т.п.²²

На это, казалось бы, легко возразить: а не есть ли „грешная, нечистая и, уж тем более, проклятая” праведность – самый настоящий оксюморон („парадоксальный оксюморон”)? Самое настоящее

²¹ Цитируется по: Лев Шестов: *На весах Иова*. Москва 2009, с.558.

²² Там же, с.558. Надо заметить, что тут Лютер противоречит самому себе: „Если кому-либо может быть дано полное прощение всех наказаний, несомненно, что оно дается наиболее праведнейшим, то есть немногим”. Впрочем, Эразм о том и говорил: о множестве противоречий в церковных текстах.

противоречие? И не есть ли „парадоксальный оксюморон” вот такое рассуждение: всемогущий Творец, из ничего творящий все, которого, при этом, до его собственного дела не допускают?..

И что же в результате? Что предлагает Лютер, чтобы выйти из этого положения? Чтобы преодолеть „оксюморонность” своего тезиса? А вот что: „Оттого Бог должен прибегнуть к молоту, а именно, к закону, который разбивает, сокрушает, испепеляет в ничто это чудовище с его самоуверенностью, мудростью, справедливостью и властью, дабы оно знало, что оно погибло и проклято из-за зла, которое в нем”²³. Как видим, для Лютера проблема такая же как и для Канта: он просто не знает, что делать... Разница между ними только в одном: Лютер не обходит проблему, а наш Автор обходит и обходит очень старательно... Если Лютер говорит: „Вот почему нужно, рассуждая о справедливости, о жизни и о вечном спасении, удалить совершенно с наших глаз закон, как будто бы он ничего не значит и никогда не должен был бы что-нибудь значить”. То наш Автор утверждает нечто противоположное: он хочет *утвердить* закон в его абсолютной (как ему кажется) определенности. Он выступает против Лютера, полностью поддерживая Кальвина, говорящего, что „закон это все”. Но, с другой стороны, выступать против Лютера Кантору не хочется, ибо потому что такое выступление пахнет очень опасной ересью... И, конечно же, тут мы, читатели, невольно оказываемся в некоторой растерянности – как нам, в этом вот случае, относиться к лозунгу Автора „изображая – понимай!”?

Теперь вам понятно, о чем же, все-таки, рассуждали наши собеседники, когда в „А” и „Б” Толстого видели нечто уступающее красоте и мощи „десятимерности” Достоевского? А все о том же: как конечное сочетать с бесконечным... Как вечность примирить с той самой „банькой”, в которой копошатся пауки... Чем громадней большое, тем меньше малое, охватываемое его громадностью... Вот так и в своем рассказе о Гамлете наш Автор цитирует ученого, который упрекал Принца в жестокости, безжалостности к людям, что вызвало возмущение нашего Автора. И мы прекрасно понимаем это возмущение: ну как же! В интерпретации этого ученого „Детоводитель ко Христу” вдруг превратился в одного из „пауков”²⁴... Получилось, что Гамлет

²³ Лев Шестов: *На весах Иова*. Москва 2009, с.558.

²⁴ Как тут не вспомнить замечательное стихотворение Ивана Жданова про Спинозу, который был превращен в паука и помещен в одну банку с другим

Шекспира растворился в своих противоречиях, в противоречии самому себе. Потому-то „Гамлет” и *трагедия*, что, казалось бы, камертоном мы *избираем* добро, а *опираемся* при этом на зло, на наши собственные скелеты в шкафу, которые не хотят лежать там молча, без всякого движения, не подавая своего голоса прикидываться, будто их там нет...

Вот и в своем рассказе о Бердяеве и Достоевском Владимир Кантор очень старался довести нашего знаменитого национального философа до сияющих высот Духа, к подножию трона, на котором восседает сам Христос... И что же получилось? А получился вот такой финал главы: „Об этом слова позднего Хайдеггера, подводящие своеобразный итог его построениям: Мировая ночь распространяет свой мрак. Эта мировая эпоха определена тем, что остается вовне Бог, определена „нетостью Бога”” (328).

Разве не очевидно, что эти слова – перифраз Ивана Карамазова. Философ Хайдеггер торжественно возвращает Богу „билет”, подтверждая тем самым мысль Айхенвальда, что уж если возвращаешь билет, то, стало быть, в Бога не веруешь...

Наш Автор даже и не заметил, что, при всем его желании, „теодицеи Бога” (напомним название главы: *Бердяев о Достоевском: теодицея и свобода*) не получилось. Ведь о какой „теодицее” (оправдании) Бога можно говорить, если это, действительно, *Бог*? Это все равно, что говорить об оправдании Солнца перед лицом засухи... Даже при такой катастрофе Солнце в *оправдании* не нуждается... И, стало быть, если это *действительно Бог*, то что это за „Бог”, который вчера был, а сегодня оказался в нетях, куда-то подевался, пропал...

Кантор: „Такое состояние мира уже за пределами человеческой истории. Это то, что угадал Достоевский. И то, к чему пришел Бердяев” (328). Но ведь тогда получается, что Достоевский не привел нас к Богу, а *увел* нас от Бога. И сам куда-то подевался, и не только Бердяев исчез, но и Хайдеггер вместе с ними оказался *за пределами*. Они *там*, а мы вот остаемся *здесь*, в *пределах* истории остались. Им хорошо, они *личности*, а что делать *нам* – „индивидуумам”, тем, кто как бы *поплоче*? Нам остается только одно – думать о том, как нам быть, как приспособиться к новым обстоятельствам... Да и важно ре-

пауком. Между ними началась борьба и очень скоро было трудно понять „кто есть кто”, какой паук был Спинозой... Да и какое это уже имело значение?..

шить другой вопрос: а что там с Мартином Лютером, он-то где? По какую сторону „баррикад”? Про Жана Кальвина мы и спрашивать боимся, дабы совсем не усложнять и без того не слишком ясную картину... Как тут опять не вспомнить слова профессора С.Медведева о многомерности мира Достоевского? Если профессор прав, то нам не стыдно сознаться в нашей растерянности: неясно нам, где же мы остановились в своем раздумье: в запредельности ли (она же „трансцендентность”), которая величиной с избу с пауками, или в избе с пауками, которая величиной с самое запредельность?..

Видать, без Римана и Лобачевского этой задачи нам не решить... А что, если, всё-таки, попытаться обойтись своими слабыми силами? И вот что нам подсказывает наш скудный опыт („индивидуумов”): оставаться там, где мы есть. Не выходить за пределы истории, не гоняться за *трансцендентным* (оно же и „трансцендентальное”), а оставаться вот тут, в *Трагедии*, не искать выход за ее порогом, а искать выход в ее пределах.

...и не боясь смотреть ей прямо в глаза...

Виктор Дмитриев
профессор-эмеритус
Университет штата Оклахома
Оклахома, 2018-2020.

**Семиотическое пространство
в антропологическом измерении**

*Тюнде Сабо: Статьи по поэтике Л. Улицкой.
Москва: Флинта, 2022.*

Подчеркнуто скромное название новой книги венгерской исследовательницы Тюнде Сабо может создать впечатление, что в ней собраны написанные в разное время статьи. Однако знакомство с книгой убеждает в обратном: перед нами целостное по замыслу и методологии исследование, которое, несомненно, выходит за рамки изучения творчества одного писателя, хотя и вносит большой вклад в понимание поэтики Людмилы Улицкой, а представляет важную, на мой взгляд, реплику в дискуссии о состоянии современного теоретического литературоведения и путях его развития. В этом плане главное достоинство книги я вижу в том, что Т. Сабо не отказывается от традиций структурно-семиотического подхода, который в последние десятилетия уступил позиции различным вариантам *cultural studies*, а умело использует его в русле так называемого антропологического поворота в гуманитарных исследованиях. Антропологическая проекция исследования придает новый импульс семиотике, в свою очередь семиотический подход конкретизирует антропологическую перспективу, позволяя показать не только представление Л. Улицкой о человеке, но и – что более существенно – выявить специфику художественного языка писательницы, сложность создаваемой ею картины мира.

Автор книги рассматривает тексты Л. Улицкой как „сложно организованное семиотическое пространство, в котором сосуществуют и взаимопроникают разные тексты и языки культуры”. Данная установка в целом характерна для Т. Сабо: в книге „Родословная “Сонечки”. Генетический фон повести Л. Улицкой” (Szombathely, 2015) такой исследовательский подход позволил выявить уходящие в толщу литературной традиции разнонаправленные и не всегда осознаваемые читателем истоки и содержательные пласты повести. В рецензируемой книге данная установка наиболее очевидно реализуется в ее композиции: четыре раздела ведут читателя от простого

к сложному, представляя творчество Л. Улицкой как своего рода „расширяющуюся вселенную”. Так, в первом разделе „Герой и структура сюжета” показывается, что документальная / биографическая основа произведений, иногда граничащая с социологическим анализом, сочетается с разнообразием сюжетных схем, глубокой укорененностью в традиции и одновременно с ее игровым переосмыслением, в чем проявляется и автореференциальность текстов Л. Улицкой, для которой характерен интерес не к отдельному человеку, а к человеческой сущности. Герои предстают в многочисленных зеркалах – истории, культуры, в том числе в зеркале авторского сознания и жизненного опыта, что в свою очередь определяет построение системы персонажей в произведениях писательницы, где нет главных героев, но многочисленные персонажи объединены друг с другом сетью социальных, дружеских, профессиональных связей – пространством жизни. Так возникает в книгах Л. Улицкой портрет поколения, определенной среды, общества в целом.

Обозначенный подход получает развитие в разделе „Герой и искусство”, в котором рассматривается функция живописи (экфразистических включений), музыкальной составляющей и театральных эпизодов в характеристике персонажа и построении сюжета. Перспективным представляется вывод Т. Сабо о том, что искусство в произведениях Л. Улицкой выступает не только в качестве культурного кода, проясняющего самоидентификацию персонажей, но и маркером антропологического видения самого автора; соответственно сами тексты предстают как „гиперриторическая структура”, предполагающая герменевтическое усилие читателя. В свою очередь предложенный автором книги анализ романов „Даниэль Штайн, переводчик”, „Зеленый шатер” и „Лестница Якова” является блестящим образцом герменевтического исследования интермедиальных взаимодействий, благодаря которым возникает очередная проекция – герой в зеркале искусства, в то время как в текстах романов обнаруживается подчиненность структуры повествования авторской задаче.

В разделе „Романная традиция” произведения Л. Улицкой представлены в аспекте влияний и интертекстуальных связей с творчеством Б. Пастернака, Ф. Достоевского и А. Чехова. Выявляя очевидные текстовые пересечения в произведениях Л. Улицкой с произведениями предшественников, Т. Сабо вводит новый аспект в рассмотрение интересующей ее антропологической проблематики и в целом

в изучение проблемы интертекста. Так высвечивается преемственность не только литературной традиции, но прежде всего истоки и результаты исторических, социальных трансформаций, происходивших в русском обществе на протяжении XIX–XX вв. Проблема человека, таким образом, получает историческое измерение, взгляд писательницы – глубину осмысления.

В последнем разделе книги „Трансгрессия” дается обобщающая характеристика „вселенной Людмилы Улицкой”, которая предстает как отражение ситуации перехода / движущейся современности. Понятие трансгрессии позволяет объяснить специфику хронотопа как семиозиса в произведениях писательницы (гетеротопичность пространства и времени, проницаемость границ между различными локусами, между прошлым, настоящим и будущим, между сном и явью, сознанием и подсознанием), определить специфику наррации, которая направлена на отражение переходных, часто невыразимых и необъяснимых состояний героев, проживающих и переживающих в своих судьбах процесс отклонения от уходящих в прошлое культурных норм и представлений и испытывающих на своем опыте становление новых форм жизни. Человеческое (антропологическое) измерение героев Л. Улицкой получает таким образом в книге Т. Сабо семиотическое измерение.

Подводя итог (и закольцовывая высказывание), скажу, что скромно названная книга Т. Сабо представляет собой значимое явление для современного литературоведения, пример искомого синтеза медленного чтения текста с теоретическим и историко-литературным уровнем его осмысления.

Татьяна Автухович

НАШИ АВТОРЫ

Татьяна Автухович – Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (Гродно, Беларусь)

Надежда Григорьева – Тюбингенский университет имени Эберхарда и Карла (Тюбинген, Германия)

Виктор Дмитриев – Университет Оклахома (Оклахома, США)

Иво Поспишил – Университет им. Масарика (Брно, Чешская Республика)

Марина Савельева – Центр гуманитарного образования Национальной академии наук Украины (Киев, Украина)

Данута Улицка – Варшавский университет (Варшава, Республика Польша)

Жужа Хетени – Университет имени Этвеша Лоранда / ELTE (Будапешт, Венгрия)

Roman Mnich – Варшавский университет (Варшава, Республика Польша)

SECTION DE LANGUES SLAVES DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

INSTYTUT KULTURY REGIONALNEJ I BADAŃ LITERACKICH
IMIENIA FRANCISZKA KARPIŃSKIEGO

„МИРГОРОД”

Господи Боже! Какая бездна тонкости бывает у человека!
(Николай Гоголь, *Миргород*)

Это всё дрянь, чем набивают головы ваши;
и академия, и все те книжки, буквари, и философия, всё это *ка зна цо!*..
(тот же Н. Гоголь, и тот же *Миргород*)

*Международный филологический журнал, посвященный истории и
эпистемологии современного литературоведения, а также возможным
ответам на вопрос о том,
как сделана и делается сегодня наука о литературе*

Основной профиль журнала:

- эпистемология современного литературоведения, обсуждение и анализ литературоведческих концепций как в контексте других гуманитарных наук, так и на фоне обиходных представлений о литературе, литературоведении, науке и гуманитарности;
- пути развития теории литературы в прошлом, настоящем и будущем;
- поиски совместного языка и вопросы терминологии современного литературоведения.

МИРГОРОД предполагает также публиковать тематические рубрики материалов, диалоги с известными литературоведами, литературоведческие дискуссии и информации о книгах.

**Технические требования к публикации
(тексты высылать по адресу: mirgorod.press@gmail.com)**

Текст

- объём текста статьи: около 30 000 знаков,
- 12 кеглем Times New Roman,
- интервал - 1,5,
- поля - 2,5,
- заглавия произведений курсивом,
- цитаты более 3 строк выделяем отдельным абзацем, 11 кеглем, интервал 1,0,
- цитаты менее 3 строк записываем в кавычках „ „
- в случае пропущения фрагмента цитаты ставим [...].

Ссылки

- автоматические внизу каждой страницы,
- 10 кеглем,
- интервал 1,0.

Сноски

- сноска на книгу¹,
- сноска на книгу под редакцией²,
- сноска на статью в книге под редакцией³,
- сноска на журнал⁴,
- сноска на тот же источник, который был в предыдущем цитировании⁵,
- сноска для отсылки к более раннему цитированию⁶,

¹ Имя Фамилия: *Заглавие книги курсивом*. Город год, с. хх.

² *Заглавие книги курсивом*, ред. Имя Фамилия. Город год, с. хх.

³ Имя Фамилия: *Заглавие статьи курсивом*, в: *Заглавие книги курсивом*, ред. Имя Фамилия. Город год, с. хх.

⁴ Имя Фамилия: *Заглавие статьи курсивом*, „Заглавие журнала” год, № х (хх), с. хх.

⁵ Ibidem, с. хх.

⁶ Имя Фамилия, op. cit., с. хх.

- сноска на веб-страницу⁷,
- сноска на электронные документы⁸.

К статье прилагаем:

- резюме на английском и русском языках (3-5 предложений),
- ключевые слова на английском и русском языках,
- англоязычный вариант заглавия статьи,
- **сведения об авторе (на русском и английском языках)** : имя, фамилия, научная степень, вуз/место работы (должность, факультет, институт, кафедра), город, страна.

Примеры:

Игорь Смирнов: *Кризис современности*. Москва 2010.

Нина Брагинская: *Славянское возрождение античности*, в: *Русская теория 1920-1930-е годы*. Москва 2004, с. 49-80.

Maria Kłańska: *Odyseusz*, w: *Mit – człowiek – literatura*. Praca zbiorowa. Wstęp Stanisław Stabryła, Warszawa 1992, s. 245-276.

Илья Серман: *Пути и судьбы Григория Гукковского*, „Новое литературное обозрение” 2002, № 3 (55), с. 54-65.

Kathrin Rosenfield: *Hölderlins Antigone und Sophokles‘ tragisches Paradoxon*, „Poetica”. Band 33 (2001), Heft 3-4, S. 465-502.

⁷ <http://www.xxxxxxxxxx.xx>, дата доступа.

⁸ Имя Фамилия: *Заглавие курсивом*, <http://www.xxxxxxxxxx.xx>, дата доступа.